



Эрих Мария Ремарк

Ernst Remarque

Тени в раю

Эрих Мария Ремарк

Тени в раю

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69379729
Ремарк, Эрих Мария. Тени в раю: АСТ; Москва; 2023
ISBN 978-5-17-122474-5, 978-5-17-157303-4*

Аннотация

Они вошли в американский рай, как тени. Люди, обожженные огнем Второй мировой. Беглецы со всех концов Европы, утратившие прошлое. Невротичная манекенщица и циничный, крепко пьющий писатель. Легкомысленная актриса и гениальный хирург. Отчаявшийся герой Сопротивления и оптимистичный бизнесмен. Что может быть общего у столь разных людей? Хрупкость нелепого эмигрантского бытия. И святая надежда когда-нибудь вернуться домой...

Роман публикуется в новом, полном переводе М. Рудницкого.

Содержание

Пролог	5
I	7
II	21
III	38
IV	55
V	80
VI	101
VII	120
VIII	139
IX	164
Конец ознакомительного фрагмента.	175

A handwritten signature in black ink, reading 'Erich Maria Remarque' in a cursive script.

Эрих Мария Ремарк

Тени в раю

Erich Maria Remarque
Schatten im Paradies

© New York University, successor-in-interest to the literary rights of The Estate of the Late Paulette Goddard Remarque, 1971

© Перевод. М. Рудницкий, 2023

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

* * *

Пролог

Окончание минувшей войны я встретил в Нью-Йорке. Район Пятьдесят седьмой улицы, где я тогда обретался, для меня, бесправного эмигранта, не способного толком и пару слов связать на чужом языке, стал почти второй родиной.

За плечами у меня лежал долгий, опасный маршрут, *via dolorosa*¹ всех скитальцев, кому выпало спастись бегством от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию, Северную Францию путь этот вел поначалу в Париж, где была первая развилка. Оттуда одна дорога шла через Лион на побережье, к Средиземному морю, другая через Бордо и Пиренеи устремлялась в Испанию и Португалию, в лиссабонскую гавань.

Я выбрал именно этот путь, как и многие, кому посчастливилось ускользнуть из когтей гестапо. Но и в странах, через которые проходил наш путь скитаний, мы отнюдь не чувствовали себя в безопасности, ведь годные удостоверения личности, действующие паспорта, не говоря уж о визах, имели среди нас лишь единицы. Стоило угодить в лапы жандармам, и тебе обеспечен был арест, приговор, тюрьма или высылка. Впрочем, в некоторых странах у властей доставало человечности хотя бы не выдворять нас через немецкую гра-

¹ Крестный путь (лат.) – Здесь и далее примеч. перев.

ницу: в Германии нас ждали концлагерь и неминуемая гибель.

Поскольку лишь немногие из нас, изгнанников, успели обзавестись действующими паспортами, мы были обречены на безостановочное бегство. Ведь законным образом где-либо устроиться на работу без нормальных документов было невозможно. Почти каждый из нас претерпевал голод, нужду и одиночество, вот мы и называли дороги наших скитаний *via dolorosa*.

Главными ориентирами на этом пути нам служили почтовые отделения в небольших городках и побеленные стены оград, что тянулись вдоль дорог. На почте мы надеялись получить письмо до востребования от родных и близких, а стены домов и оград вдоль шоссе становились нашими газетами. Они заменяли нам страницы объявлений: письмами, мелом и углем на них пестрели имена потерявшихся и ищущих, адреса, предостережения, советы – все те беззвучные зовы в пустоту, крики отчаяния в лихолетье всеобщего равнодушия, за которым вскоре наступит совсем уж бесчеловечное лихолетье войны, когда и гестапо, и французская милиция, а зачастую и полевая жандармерия – все будут заодно, учиняя охоту на нас, несчастных изгнанников.

I

Лишь пару месяцев назад я на грузовом пароходе прибыл из Лиссабона в Америку, по сути не зная английского – можно считать, почти глухонемой, выброшенный на здешний берег с другой планеты. Да я и был с другой планеты, ведь там, в Европе, шла война.

Вдобавок у меня и бумаги были не в порядке. Хотя и имелась – благодаря невероятному стечению обстоятельств – самая настоящая американская виза, по которой я и въехал в страну, однако виза эта красовалась в паспорте отнюдь не на мое, а на совершенно чужое имя. Иммиграционные власти заподозрили неладное и определили меня на остров – он назывался Эллис Айленд. И лишь позже, полтора месяца спустя, выдали мне вид на жительство сроком еще на три месяца. За это время мне предписывалось обзавестись въездной визой в какую угодно другую страну. Эту бюрократическую канитель я хорошо изучил еще в Европе. Там в подобном подвешенном состоянии я существовал годами – причем иной раз счет шел не на месяцы, а на дни, на двое суток. В реальном своем статусе немецкого эмигранта я с тридцать третьего года так и так официально числился умершим. А теперь мне дозволено целых три месяца просто жить, не помышляя о бегстве, – да о таком счастье я и мечтать не смел!

Мне давно уже перестало казаться странным, что я живу под чужим именем, по паспорту мертвеца, – напротив, меня это уже почти устраивало. Паспорт этот я, можно считать, унаследовал во Франкфурте; человек, подаривший мне его ровнехонько в день своей смерти, носил фамилию Росс. Следовательно, и я теперь тоже звался Роберт Росс. Свое настоящее имя я почти запамятовал. Не стоит удивляться: когда жизнь на кону, и не такое забудешь.

На Эллис Айленде я свел знакомство с турком, который лет десять назад уже побывал в Америке. Понятия не имею, почему в этот раз его не впустили, да я его и не расспрашивал. По опыту знаю: человека иной раз выдворяют просто потому, что данные его анкеты ни под одну рубрику бюрократических инструкций не подходят. Так вот, этот турок дал мне адресок какого-то русского, давнего своего нью-йоркского знакомого. Турок, правда, не знал, жив ли вообще тот его приятель. И тем не менее, как только меня выпустили, я первым делом именно по этому адресу и отправился. И не видел в том ничего странного: я годами так жил. Кто столько лет спасается бегством, тому не привыкать надеяться на случай – и чем невероятней случай, тем больше надежд он сулит. Таковы уж сказки наших дней, пусть и не очень веселые, но иной раз, вопреки всем ожиданиям, даже со счастливым концом.

Тот русский, как оказалось, работал в гостинице, небольшой и донельзя запущенной, но, правда, вблизи Бродвея.

Фамилия его была Меликов, он говорил по-немецки и тотчас согласился мне помочь. Сам эмигрант с многолетним стажем, он наметанным глазом мгновенно определил, что мне нужно: жилье и работа. С жильем все решилось просто: у него имелась запасная койка, которую он и поставил к себе в комнату. С работой было сложнее, ведь виза у меня туристическая, права на работу она не давала – для этого требовалась другая виза, с номерной квотой. Короче, работать я мог только нелегально. Мне и это по Европе было знакомо, и я не слишком на сей счет тревожился. Да и кое-какие деньги у меня еще тоже оставались, пусть и немного.

– Вы хоть представляете, на что жить будете? – поинтересовался Меликов.

– Последняя работа у меня была во Франции, агентом по продаже сомнительной живописи и фальшивого антиквариата.

– И вы что-то в этом смыслите?

– Не слишком много, но кое-что, скорее по азам.

– И где же вы этим азам обучались?

– В Брюсселе, в музее, два года.

– Работали там? – Меликов явно удивился.

– Скрывался.

– От немцев?

– От немцев, которые оккупировали Бельгию.

– Два года? – переспросил Меликов. – И вас не поймали?

– Меня – нет. Но человека, который меня прятал, да, взя-

ли.

Меликов глянул на меня внимательнее.

– А вам, значит, удалось уйти?

– Удалось.

– А о том, другом, потом что-нибудь слышали?

– Обычная история. Отправили в концлагерь.

– Это был немец?

– Бельгиец. Директор музея.

Меликов задумчиво кивнул.

– И где же вам удавалось так долго прятаться? – спросил он. – Или в музее не было посетителей?

– Почему же, были. Днем я сидел взаперти в подвале, в запаснике. Директор приходил вечером, приносил мне поесть, а на ночь выпускал. Не из музея, конечно, из подвала. И свет, само собой, зажигать было нельзя.

– Еще кто-то в музее про вас знал?

– Нет. Окон в запаснике нет. Когда кто-то в подвал спускался, надо было затаиться. Больше всего я боялся не вовремя чихнуть.

– На этом и погорели?

– Нет. Просто кому-то показалось странным, что директор так часто на работе задерживается, а если и уходит, то потом обязательно возвращается.

– Понимаю, – проговорил Меликов. – А читать вам удалось?

– Только ночами, летом, или когда луна.

– Но вы всю ночь могли расхаживать по музею и разглядывать картины?

– Когда их было видно, да.

Меликов улыбнулся.

– Когда из России бежал, мне однажды шесть суток в сарае за пленницей пролежать пришлось. Когда наконец вылез, мне казалось, времени прошло гораздо больше. Недели две, не меньше. Молодой был, а в молодости время вообще куда медленней идет. Есть хотите? – спросил он вдруг без всякого перехода.

– Да, – ответил я, – и даже очень.

– Так я и думал. Стоит на воле оказаться, сразу есть хочется. Пойдемте в аптеку, перекусим.

– В аптеку?

– Да, в драгстор. Такая уж национальная особенность. Можно и аспирин купить, и поесть заодно.

* * *

– А днем чем вы в этом музее занимались, чтобы с ума не сойти? – полюбопытствовал Меликов.

Я окинул взглядом длинную стойку, за которой, уставившись на рекламные плакаты и аптечные пузырьки, торопливо жевали люди.

– И что здесь полагается есть? – вместо ответа спросил я.

– Гамбургер. Гамбургер и венские сосиски – самая популярная еда.

лярная у американцев еда. Стейк простому человеку не по карману.

– Спрашиваете, чем в музее занимался? Днем дожидался вечера. И конечно, всеми возможными способами старался отвлечься от мыслей об угрожающих мне опасностях. Иначе и свихнуться недолго. Но у меня по этой части уже навык имелся: как-никак, столько лет в бегах, а первый год и вообще в Германии скрываться приходилось. Главное же – строго-настрого запретил себе думать о прошлых своих ошибках. Это бессмысленные сожаления, а душу разъедают сильнее соляной кислоты; такую роскошь лишь в благостные времена можно себе позволить. Освежал свой французский, придумывая для себя самые разные упражнения. Потом принимался по ночам бродить по залам музея, разглядывая и, главное, стараясь запоминать картины. Вскоре я помнил их все до мелочей. И начал, в крошечной тьме своего дневного затворничества, мысленным взором воспроизводить их по памяти. И не как придется, а в строгой последовательности и подробнейшим образом, полотно за полотном, как они развешаны в залах, – порой на одну картину уходило много дней. Конечно, иногда у меня случались приступы отчаяния, но я брал себя в руки и начинал все сызнова. Разглядывая я картины просто так, бесцельно, отчаяние наверняка накатывало бы гораздо чаще. Но я превратил это занятие в упражнение для памяти и тем самым открыл для себя возможность совершенствования. Я уже не бился головой

об стену – передо мной была лестница, по которой шагаешь вверх, ступенька за ступенькой, понимаете?

– Ну да, вы не опустили руки, нашли для себя занятие, – сказал Меликов. – И поставили себе цель. Это вас и спасло.

– Помню, с Сезанном и несколькими картинами Дега я провел целое лето. Разумеется, это были вспоминаемые полотна, и сравнивал я их тоже по памяти. Но тем не менее я их сравнивал, сопоставлял, а это само по себе оказалось нешуточной задачей. Я запоминал краски, композицию – притом, что картины эти при дневном свете ни разу не видел. Это был, так сказать, лунный Сезанн и ночной Дега; по сути, я запоминал и сравнивал лишь сумеречные тени изображений. Потом, в музейной библиотеке, нашлись альбомы. Я садился к самому окну и рассматривал репродукции. Конечно, это был мир призрачной живописи, но это был мир.

– А что, охраны в музее не было?

– Только днем. На ночь просто запирали. К счастью для меня.

– И к несчастью для человека, который приносил вам еду.

Я вскинул на Меликова глаза и с расстановкой, как можно спокойнее произнес:

– И к несчастью для человека, который меня прятал. – Я видел: он говорит без всякой задней мысли и не хочет меня упрекнуть. Просто подытоживает услышанное, вот и все.

– Не надейтесь прожить, начав здесь славную трудовую карьеру нелегальным мытьем посуды, – буркнул он. – Это

все романтические сказки, а с тех пор, как существуют профсоюзы, вдобавок совершенно несбыточные. Без заработка сколько вы сможете продержаться, чтобы не умереть с голоду?

– Не долго. Сколько вы сейчас за меня заплатили?

– Полтора доллара. С тех пор, как у нас война, все дорожает.

– Война? – повторил я. – Какая же здесь война?

– Да такая, – хмыкнул Меликов. – Опять же, на ваше счастье. Всюду люди нужны. Безработных вообще не осталось. Тем легче вам будет что-нибудь подыскать.

– Но мне же через два месяца снова куда-то отправляться. Меликов рассмеялся, жмуря свои маленькие глазки.

– Америка очень велика. К тому же идет война. Опять же, вам на счастье. Вы где родились?

– Если по паспорту – в Гамбурге. Если по правде – в Ганновере.

– Ни в Гамбург, ни в Ганновер вас высылать не станут. Но в лагерь для интернированных спроводить могут.

Я пожал плечами.

– В одном я уже побывал, во Франции.

– Сбежали?

– Скорее в один прекрасный день просто ушел. Пользуясь разбродом и паникой позорного военного поражения.

Меликов кивнул.

– Мне тоже довелось побывать во Франции. И тоже в пору

разброда и шатания, правда, после позорной военной победы, которая оказалась фикцией. В девятьсот восемнадцатом. Я туда из России добрался – через Финляндию и Германию. Так сказать, с первой волной нынешнего переселения народов, назовем его малым. По-моему, глоток водки нам сейчас не повредит, как вы считаете?

– Вообще-то опыт научил меня водки побаиваться, – ответил я. – Она внушает мне слишком много веры в собственные силы. Дважды это привело к печальным последствиям: тюремная камера и вши.

– В Испании?

– В Северной Африке.

– Давайте все-таки в третий раз рискнем. В здешних тюрьмах довольно чисто. Водка у меня в номере. Здесь-то не наливают. Вы, часом, не романтик? – спросил он вдруг.

– Лишь изредка. Полиция хватает романтиков чаще прочих смертных.

– Ну, полиции-то в ближайшую пару месяцев вам нечего опасаться.

– Что верно то верно. Но я пока не привык.

Мы пошли к Меликову в гостиницу, но долго я там не выдержал. Напиваться не хотелось, без дела сидеть в холле на обшарпанном плюше тоже было тошно, а комнатенка у Меликова совсем крошечная. Меня уже снова тянуло на улицу. Слишком долго я был лишен этой возможности. Даже на Эллис Айленде я чувствовал себя как в тюрьме, пусть и в бла-

гоустроеной, со всеми удобствами. Да и слова Меликова, мол, в ближайшую пару месяцев я могу не опасаться полиции, не шли у меня из головы. Пара месяцев – да это же целая вечность!

– Когда мне надо возвращаться? – спросил я.

– Когда угодно.

– Но спать вы когда ложитесь?

Меликов лишь вяло рукой повел.

– Только под утро. Сейчас мне работать надо. Женщину хотите найти? В Нью-Йорке это не так просто, как в Париже. А порой и небезопасно.

– Да нет. Просто хотел еще немного пройтись.

– Женщину проще найти прямо здесь, в гостинице.

– Спасибо, не нужно.

– Это всегда нужно.

– Сегодня нет.

– Значит, все-таки вы романтик, – рассудил Меликов. – Запомните номер улицы и название гостиницы: отель «Рубен». В Нью-Йорке трудно заблудиться: почти все улицы идут просто по номерам, с названиями лишь очень немногие.

«Совсем как я, – подумалось мне. – Номер главное, а уж имя как придется. Блаженная анонимность... С именами вообще хлопот не оберешься, у меня лично от них одни неприятности».

Безымянной щепкой меня подхватило и понесло анонимное многолюдство города, чьи светлые дымы безмятежно возносились к небу. Зловещий столп огня ночью, светлый столп облаков днем – разве не сам Господь таким же способом указывал путь через пустыню первому в мире народу изгнанников? Я плыл в бурном месиве возгласов, шумов, смеха, отрывистых слов, и все эти звуки волнами бились о переборки моего слуха, но я различал в них лишь слитный штормовой гул, не понимая смысла. После померкшей в ночных затемнениях Европы всякий встречный казался мне здесь Прометеем, несущим людям огонь: и потный продавец, что, лоснясь отраженным электричеством, от дверей магазинчика зазывно простирает к прохожим руку с гирляндами носков и полотенец, и пузатый повар с пиццей на огромной сковороде, подсвеченный ореолом искр, словно неаполитанский божок. Поскольку никого из окружающих я не понимал, все их движения воспринимались мною как пантомима, в некоем символическом смысле. Мне казалось, все они будто на сцене. Словно это не просто официанты, повара, зазывалы, продавцы, а вместе с тем еще и марионетки, разыгрывающие некое загадочное действо, в котором один я не участвую, а посему и суть угадываю лишь приблизительно, в самых общих чертах. Да, я нахожусь среди них, но я тут не

свой, я посторонний, меня отделяет от них некая незримая преграда – не то чтобы стеклянная стена или какое-то отстояние, не то чтобы враждебность или чуждость, но нечто такое, чему причиной я сам и что исходит только от меня. Смутно я понимал: именно эти, теперешние мгновения неповторимы – второй такой встречи у меня не будет. Уже завтра все слегка потускнеет, лишится нынешней яркости – и не потому, что станет мне чуть ближе, скорее напротив; вероятно, уже завтра мне придется возобновить борьбу за существование, опять ловчить, приноравливаться, крутиться, привирать, кривить душой и даже мошенничать слегка, и эти увертки и уловки, мелкие подлоги и обманы всецело заполнят мои будни, – но этой вот ночью, сегодня, сей миг город еще являл мне свое лицо совершенно открыто и безучастно.

И я вдруг понял: прибившись наконец к этим чужеземным берегам, я, оказывается, отнюдь не избежал невзгод и опасностей, напротив, они только теперь и начнутся. И это угрозы не извне, а изнутри. Я столько лет был поглощен лишь борьбой за выживание, и, должно быть, именно это меня и спасало. Да, то было ожесточенное стремление уцелеть, как в секунды паники при кораблекрушении, когда нет у тебя другой цели, кроме как выжить. А теперь вдруг, с завтрашнего утра – да нет, уже с этих вот неповторимых мгновений – жизнь начнет раскрываться передо мной веером самых разных возможностей, в ней снова появится будущее, но и прошлое тоже, да такое, какое запросто способно меня убить, ес-

ли я не сумею его запомнить или осилить. Я понял вдруг, что лед, которым оно покрылось, еще очень тонок и долго таким останется – ступать на него опасно. Только шагни – сразу проломится. Так что лучше не пробовать. Неужели бывает такое, чтобы можно все начать сызнова, с самого начала, как этот новый, непонятный язык, окутавший меня сейчас гулом и буквенной чехардой всей своей неизведанности, ожидая и требуя, чтобы я научился понимать его смыслы? Неужели бывает такое, чтобы заново начать жизнь, и не будет ли это предательством, да что там – убийством, вторым убийством уже однажды убиенных, тех умерших, кто так тебе дорог?

Я замер на месте, потом решительно повернул назад, растерянный, взбудораженный, взволнованный; я уже не глядел по сторонам и осознал, что даже задыхаюсь от спешки, лишь когда снова увидел дом с вывеской моей гостиницы, – он возник передо мной внезапно, не низок, не высок, не порываясь спесиво ввысь и не пластаясь по-хозяйски вширь, как отели подороже, а скромно, почти неприметно втиснувшись между другими зданиями.

Толкнув дверь, я оказался в холле, облицованном под мрамор, и за стойкой портье сразу увидел Меликова: тот мирно дремал в кресле-качалке. Он, впрочем, тут же открыл глаза, причем в первый миг мне показалось, будто у него, как у старого попугая, вовсе нет век, и только потом я обратил внимание на беззащитную голубизну его зрачков.

– В шахматы играете? – спросил он, вставая.

– Как всякий эмигрант.

– Отлично. Сейчас принесу водку.

Он направился к лестнице. Я огляделся. Да, здесь я уже чувствовал себя как дома. Когда у тебя вообще дома нет, в чужих стенах так и подмывает обжиться поскорей.

II

Английский мой улучшался не по дням, а по часам, так что недели через две я владел им, можно считать, почти на уровне пятнадцатилетнего подростка. С утра я по нескольку часов просиживал на красном плюше в холле гостиницы «Рубен» за учебником грамматики, а потом старался изыскать любую возможность для разговорной практики. И беззастенчиво лез с разговорами ко всем и каждому. Заметив дней через десять после почти непрерывного общения с Меликовым, что у меня появился русский акцент, я переключился на постояльцев и служащих гостиницы. Вследствие чего у меня поочередно прорезался немецкий, еврейский, французский прононс, пока, наконец, поднахватавшись у горничных и уборщиц, уж их-то полагая стопроцентно коренными американками, я не затараторил на чудовищной бруклинской тарабарщине.

– Тебе надо бы завести роман с молоденькой американкой, – сокрушался Меликов, с которым мы тем временем перешли на «ты».

– Из Бруклина? – съязвил я.

– Лучше из Бостона. Там самая грамотная речь.

– Почему тогда сразу не с учительницей из Бостона? Это уж точно верняк.

– Наша гостиница, к сожалению, чистый караван-сарай.

Акценты здесь носят в воздухе, как тифозные бациллы, а у тебя вдобавок еще и хороший слух, вот ты и ухватываешь все искажения, нормальную же речь пропускаешь мимо ушей. А появишься у тебя сердечный интерес – глядишь, все бы и выправилось.

– Владимир, – успокаивал его я, – моя жизнь и без того меняется достаточно быстро. Всякую пару дней мое английское «я» становится на год взрослей, и, к сожалению, мир этого «я» теряет чары неизведанного. Чем больше я понимаю окружающее, тем меньше в нем загадок и тайн. Еще сколько-то недель, и оба моих «я» уравновесятся. Мое американское «я» станет таким же скучным циником, как и европейское. Лучше не будем торопить события. И с акцентами воевать не будем. Неохота мне раньше времени расставаться с моим вторым детством.

– Особо не обольщайся, не так-то просто от него избавиться. У тебя пока что кругозор нашего уличного зеленщика. Да-да, того самого, что на углу торгует, философ-самоучка, Аннибале Бальбе его зовут. Ты от него уже и итальянских словечек поднабрался – они плавают в твоём английском, как кусочки мяса в итальянской овощной похлебке.

– А что, разве бывают нормальные, полноценные американцы?

– Разумеется. Но Нью-Йорк – особый случай, это огромная воронка для эмиграции: ирландской, итальянской, немецкой, еврейской, армянской, русской – да какой хочешь.

Как у вас, немцев, говорят: «Ты человек, и здесь быть вправе»². Ты эмигрант, и здесь быть вправе. Эта страна основана эмигрантами. Так что отбрось свои ущербные европейские комплексы. Здесь ты снова человек. А не бесправная двуногая тварь, в страхе лынувшая к паспорту.

Я оторвал взгляд от шахматной доски.

– Ты прав, Владимир, – проговорил я задумчиво. – Что ж, посмотрим, сколько это протянется.

– Не веришь, что это сколько-то протянется?

– А с чего бы вдруг мне в такое верить?

– Во что ты вообще веришь?

– Что чем дальше, тем хуже, – ответил я.

* * *

Кто-то, хромая, ковылял через холл. Мы сидели в углу, почти в полутьме – лица вошедшего я толком видеть не мог, зато характерная походка, с легкой припрыжкой на три такта, смутно кое-кого мне напомнила.

– Лахман, – пробормотал я себе под нос.

Человек остановился и глянул в мою сторону.

– Лахман! – повторил я уже громче.

– Вообще-то я Мертон, – настороженно заметил незнако-

² Искаженная цитата из «Фауста» Гете (1,1), букв.: «Я человек, и здесь быть вправе». В переводе Б. Пастернака: «Как человек, я с ними весь: / Я вправе быть им только здесь».

мец.

Я щелкнул выключателем, и желто-синий плафон убогой люстры, жалкой пародии на модерн начала века, скупо осветил наш угол своим жиденьким светом.

– Господи, Роберт! – в изумлении воскликнул гость. – Ты жив? Я думал, тебя давно на свете нет.

– То же самое я думал про тебя. Но по походке я тебя сразу опознал.

– По моей подтанцовке на три такта?

– Ну да, Курт, по твоему вальсированию. Ты с Меликовым знаком?

– А как же!

– Ты, может, и живешь здесь?

– Нет. Просто бываю иногда.

– И зовут тебя теперь Мертон?

– Да, а тебя как?

– Росс. Но имя прежнее.

– Вот так встреча, – протянул Лахман с легкой усмешкой.

Мы помолчали. Обычная смущенная заминка при встрече эмигрантов. Когда не знаешь, о чем лучше не спрашивать. Когда не знаешь, кто жив, а кто нет.

– О Кане что-нибудь слышал? – спросил я наконец.

Это тоже испытанный прием. Сперва осторожно интересуешься теми, кто был не слишком близок ни тебе, ни собеседнику.

– Он здесь, в Нью-Йорке, – сообщил Лахман.

– И он тоже? Он-то какими судьбами здесь оказался?

– Да как все мы здесь оказываемся? Игрою случая, как судьба распорядится. По крайней мере, в списке подлежащих спасению корифеев духа, составленном американцами, ни один из нас не значился.

Меликов выключил люстру у нас над головами и извлек из-под стойки бутылку.

– Американская водка, – пояснил он. – Примерно то же самое, что калифорнийское бордо или бургундское из Сан-Франциско. Или чилийское рейнское. Это одна из выгод эмиграции – можно по много раз выпивать на прощание, а потом отмечать новую встречу. Что даже создает иллюзию долгой жизни.

Ни Лахман, ни я ничего на это не ответили. Меликов был эмигрантом другого поколения – семнадцатого года. Боль, что жгла наши души, в нем давно отгорела и стала всего лишь воспоминанием.

– Твое здоровье, Владимир, – произнес я наконец. – И почему только мы не уродились йогами?

– Да мне бы в Германии не уродиться евреем – и то я был бы счастлив, – заявил Лахман, он же Мертон.

– Вы у нас граждане мира, передовой отряд космополитов, – невозмутимо изрек Меликов. – Вот и держитесь как первопроходцы. Вам еще памятники будут ставить.

– Когда? – поинтересовался Лахман.

– Где? – добавил я. – Уж не в России ли?

– На Луне, – проронил Меликов, направляясь к стойке выдать ключи очередному постояльцу.

– Тоже мне остряк, – бросил Лахман, провожая его глазами. – Работаете на него?

– В смысле?

– Ну там, девочки. Иной раз морфий помаленьку и все такое. И ставки, по-моему, у него можно делать.

– Ты из-за этого и пришел?

– Нет. Из-за женщины, по которой с ума схожу. Представляешь: пуэрториканка, ей пятьдесят, она католичка и без ноги. Ступня ампутирована. Вдобавок при ней все время еще и мексиканец один трется. Этот мексиканец – он сутенер. За пять долларов мать родную с кем угодно положит. Но она не согласна. Ни в какую. Убеждена, что боженька с неба все видит. Даже ночью. Я ей объясняю, мол, у твоего боженьки близорукость, причем давно. Все бесполезно. Но деньги при этом берет. И кормит меня обещаниями. А сама смеется. Но потом снова обещает. Что ты на это скажешь? Можно подумать, ради этого я мечтал попасть в Америку! Прямо хоть вешайся!

У Лахмана из-за его хромоты был очень странный бзик. В прежние годы, если верить его бахвальству, он был большой ходок по женской части. Пока его не приревновал один эсэсовец и не затащил в пивнушку штурмовиков в намерении там кастрировать, но, к счастью для Лахмана, – было это еще в тридцать четвертом, в Берлине-Вильмерсдорфе –

вмешалась полиция. Короче, Лахман отделался несколькими шрамами и переломом ноги в четырех местах, где потом что-то неправильно срослось. С тех пор он хромот, и его почему-то стало тянуть на женщин с физическими недостатками. Единственное, что Лахману требовалось, – это чтобы у очередной избранницы был объемистый и упругий зад, все остальное не имело значения. Даже во Франции в самых немыслимых условиях он находил возможность предаваться своей неодолимой страсти. В Руане, уверял он, ему довелось пополнить свой донжуанский список женщиной с тремя грудями, причем все три были на спине. По сравнению с ней тициановская Венера Анадиомена, как и все прочие Венеры, выходящие из пены морской, просто жалкие дурнушки, ведь руанскую богиню даже не нужно было переворачивать: она услаждала взор всеми прелестями сразу.

– И притом упругая, плотная! – Лахман мечтательно закатил глаза. – Пылающий мрамор!

– Ты совсем не изменился, Курт, – проронил я.

– А люди вообще не меняются. Хотя то и дело дают себе зарок начать новую жизнь. Некоторые и вправду начинают – поневоле, оказавшись на самом дне. Но стоит чуток оклематься – и все зарокн позабыты. – Он вздохнул, словно и сам только что оклемался. – Даже не знаю, что это: геройство или идиотизм?

Только тут я заметил крупные капли пота на его белесом, морщинистом лбу.

– Конечно, героизм, – буркнул я. – В нашей шкуре только и остается, что украшать себя доблестями. А главное, в душе особо не копать, иначе непременно наткнешься на решетку отстойника, под которой полно всякой дряни.

– И ты, как погляжу, все тот же, – заметил Лахман, отирая смятым платком пот со лба. – Все еще пробавляешься расхожими философскими премудростями?

– Да, не могу без них. Они меня успокаивают.

Лахман снисходительно ухмыльнулся:

– Скажи лучше: дают тебе чувство дешевого превосходства, в этом все дело.

– Превосходство дешевым не бывает.

На миг Лахман опешил и прикусил язык.

– Пойду ее уламывать, – вздохнул он немного погодя и извлек из кармана нечто, завернутое в тонкую подарочную бумагу. – Четки, – пояснил он. – Собственноручно освящены самим папой. Чистое серебро и слоновая кость. Как думаешь, хоть это ее проймет?

– Каким папой освящены?

– Пием, каким же еще?

– Лучше бы Бенедиктом Пятнадцатым.

– Что? – Лахман уставился на меня озадаченно. – Он же умер. И почему именно он?

– От него исходит больше превосходства. Как от всякого мертвеца. И уж оно-то никак не дешевое.

– Ах вон что. Еще один остряк-самоучка. А я и позабыл.

В последний раз, когда я тебя...

– Стоп! – оборвал я его.

– Что такое?

– Стоп, Курт! Больше ни слова.

– Ну ладно. – Лахман еще какое-то мгновение колебался.

Потом жажда пооткровенничать все же взяла верх. Он развернул голубоватый сверток. – Вот, реликвия, прямо из Гефсиманского сада, веточка оливкового дерева с Масличной горы. Заверено сертификатом, с печатью и подписью. Если уж это ее не проймет, что тогда?

Он смотрел на меня умоляюще.

– Проймет. А пузырька с водой Иордана у тебя нет?

– Нет.

– Так налей.

– То есть как?

– Налей в бутылку воды. Колонка на улице, прямо у нас перед входом. Подсыпь малость дорожной пыли, для пущей убедительности. Уличить тебя никто не уличит. Если уж у тебя заверенные четки и оливковая ветвь, тебе без иорданской воды никак нельзя.

– Но не в водочной же бутылке?

– Почему? Этикетку отмочишь, соскребешь. А бутылка на вид очень даже восточная. Твоя пуэрториканка водку наверняка не пьет. Разве что ром.

– Виски. Чудно, правда?

– Да нет.

Лахман задумался.

– Надо бы бутылку запечатать, так будет достовернее. У тебя сургуч найдется?

– А больше тебе ничего не надо? Паспорт не требуется или виза? Откуда у меня сургуч?

– Да у людей чего только не бывает... Я сам сколько лет кроличью лапку с собой таскал...

– Может, у Меликова сургуч имеется...

– Точно! Ему же письма и бандероли запечатывать надо. Как я сам не додумался!

И Лахман, вприпрыжку прихрамывая, поспешил к стойке.

* * *

Я откинулся в кресле. Уже стемнело. Из вестибюльного мрака сквозь светлый прямоугольник дверного проема призрачными тенями устремлялись в вечернюю уличную жизнь люди. В зеркале напротив застыла тусклая серая мгла, тщетно силясь хоть чуточку отлить серебром. Плюшевые кресла казались бордовыми, и на какой-то миг мне почудилось, будто это запекшаяся кровь. Очень много крови. Где же я видел такое раньше? Тесная серая комнатенка, кровь на трупах, а за окном вовсю пылает закат, в свете которого все цвета вокруг странно блекнут, остается только черный, серый и вот этот, коричнево-бордовый, – блекнет все, кроме лица человека у окна, который внезапно повернул голову и попал

в сноп закатных лучей, но не весь, а в полупрофиль; половина лица еще в тени, зато другая будто в отблесках пламени, и голос с саксонским акцентом, неожиданно пронзительный, почти визгливый, нетерпеливо требовательный: «Ну же, пошевеливайтесь! Следующих давайте!»

Я поспешно отвернулся и снова включил свет. Прошли годы, прежде чем я снова научился спать без света, а заснув, не просыпаться от жутких кошмаров. Я и сейчас не очень люблю выключать свет на ночь, да и спать один тоже не люблю.

Я встал, пошел к выходу. Там возле стойки портье над чем-то колдовали Лахман с Меликовым.

– Дело на мази! – торжествующе воскликнул Лахман. – Ты только взгляни, взгляни! У Владимира нашлась русская монета, мы запечатали ей бутылку. Русские буквы, кириллица! Если уж это не сойдет за изделие греческих монахов из монастыря на реке Иордан, тогда даже не знаю...

Я смотрел, как расплавленный сургуч капает на бутылочную пробку, пронзительно алый в подрагивающих бликах свечи. «Да что со мной такое? – думал я. – Ведь все позади! Я спасся! И вот она, жизнь, совсем рядом, только дверь распахни! Спасся! Только вот вправду ли спасся? Вправду ли ноги унес? И от теней тоже?»

– Я выйду, прогуляюсь немного, – сказал я. – В голове чертова прорва английских слов. Надо проветриться. Пока!

Когда я вернулся, у Меликова уже началась смена. В этой гостинице он был един во многих лицах: и ночной портье, и дневной, а при случае еще и посыльный, и коридорный... На этой неделе он был ночным портье.

– А Лахман где? – поинтересовался я.

– Наверху, у своей ненаглядной...

– Думаешь, сегодня ему обломится?

– Ну нет. Она соблаговолит сопроводить себя и мексиканца в ресторан. И милостиво позволит Лахману оплатить счет. Он всегда такой был?

– Всегда. Но не такой невезучий. И уверяет, что на калек и увечных его потянуло, только когда сам охромел. А раньше, мол, нормальный был. Может, просто слишком застенчивый, стыдится перед красивой женщиной себя показать. Кто его знает...

Краем глаза я успел заметить фигуру в дверях. Это оказалась стройная, довольно высокая женщина с изящной головкой. Бледная, сероглазая, темно-золотистая блондинка, кажется, крашеная. Меликов встал.

– Наташа Петрова, – только и сказал он. – И давно вы вернулись?

– Да уж две недели.

Я тоже поднялся. Блондинка была лишь чуть ниже меня

ростом. Облегающий костюм подчеркивает почти хрупкую фигуру. Говорит быстро, будто выпаливает, и голос слегка резковат и как будто прокуренный.

– Вам водки? – предложил Меликов. – Или виски?

– Водки. Но только глоток. Я на минуточку, и снова на съемку.

– На ночь глядя?

– Да, допоздна. Фотограф только по вечерам свободен. Сегодня платья и шляпки. Маленькие такие. Совсем крохотные.

Лишь теперь я заметил, что она и сама в шляпке, даже скорей в беретике, черная такая фитюлька, к тому же набекрень – вообще непонятно, как держится.

Меликов удалился за бутылкой.

– Вы ведь не американец? – спросила девушка.

– Нет. Немец.

– Ненавижу немцев!

– Я тоже, – проронил я.

Она глянула на меня ошарашенно.

– Я не вас имела в виду.

– Я тоже, – повторил я.

– Я француженка. Вы должны понять. Война.

– Понимаю, – равнодушно бросил я. Мне не впервой отвечать за злодеяния моего отечества. В конце концов, я за это и в лагере для интернированных отсидел во Франции – французов, впрочем, не возненавидел. Но пускаться в объ-

яснения на сей счет бессмысленно. Когда человеку настоль-
ко все ясно насчет любви и ненависти, его святой простоте
лишь позавидовать можно.

Меликов уже снова был тут как тут, с бутылкой и тремя
крохотными стопочками, которые наполнил до краев.

– Вы обиделись? – спросила девушка.

– Нет. Просто не хочется сейчас водки.

Меликов ухмыльнулся.

– Ваше здоровье! – провозгласил он по-русски, поднимая
стопку.

– Божественно! – вздохнула девушка, осушив стопку зал-
пом.

Я чувствовал себя довольно глупо, отказавшись от рюмки,
но передумывать поздно.

– Еще по одной? – спросил Меликов, поднимая бутылку.

– Мерси, Владимир Петрович. Достаточно. Мне пора. –
Она протянула мне руку. – Au revoir, monsieur³.

А у нее крепкое рукопожатие.

– Au revoir, madame⁴.

Проводив ее, Меликов вернулся.

– Что, разозлился? – спросил он.

– Нет!

– Не обращай внимания. Она всех злит. Но не нарочно.

– Так она не русская?

³ До свидания, месье (*фр.*).

⁴ До свидания, мадам (*фр.*).

– Русская. Но родилась во Франции. А что?

– Я одно время квартировал у русских. И заметил, что у их женщин прямо страсть цепляться к мужчинам. Обычай, что ли, такой?

Меликов снова ухмыльнулся.

– Да ладно тебе! И, кстати, что плохого, если мужчину чуток расшевелить? Все лучше, чем по утрам доблестно надирать благоверному пуговицы на мундире и сапоги до блеска, которыми он потом ручонки еврейских детишек будет топтать!

Я вскинул руки.

– Сдаюсь! Сегодня, похоже, для эмигрантов не самый удачный день. Налей-ка мне лучше стопку, от которой я только что имел глупость отказаться.

– Ну и отлично! – Меликов вдруг прислушался. – А вот и они.

На лестнице послышались шаги. И тут же до меня донеслось удивительно глубокое, мелодичное контральто. Это была пуэрториканка, а с ней и Лахман. Она шла впереди, насколько не беспокоясь, поспевает ли за ней хромоногий спутник. Сама она не хромала, и вообще было незаметно, что она на протезе.

– За мексиканцем отправились, – шепнул Меликов.

– Бедняга Лахман, – посочувствовал я.

– Бедняга? – изумился Меликов. – Да кто ж его заставляет желать несбыточного!

Я хмыкнул.

– Единственное, что невозможно потерять, верно?

– По-моему, бедняга лишь тот, кто уже ничего не желает.

– Да ну? – усомнился я. – А я-то полагал, только тут и приходит мудрость.

– Вот уж не думаю. И вообще – что с тобой сегодня? Может, женщина нужна?

– Нет. Просто позволяю себе распуститься, когда очередная опасность позади, – с усмешкой ответил я. – Свою молодость вспомни, сразу все и поймешь.

– Мы в те годы всегда вместе, всегда заодно держались. А тебе до других эмигрантов, похоже, и дела нет.

– Ничего не хочу вспоминать.

– И в этом все дело?

– Не хочу замыкаться в эмигрантском кругу, в этой незримой тюрьме. Мне этого в Европе за глаза хватило.

– Американцем, значит, хочешь стать?

– Никем я не хочу стать, я хочу наконец-то хоть кем-то быть. Если мне, конечно, позволят.

– Это все словеса...

– Надо же хоть чем-то себя взбодрить, – сказал я. – За меня этого никто не сделает.

Мы еще сыграли партию в шахматы. Я проиграл. Ближе к ночи в гостиницу стали возвращаться постояльцы, и работы у Меликова заметно прибавилось: надо было выдавать ключи, разносить по комнатам бутылки и сигареты. Я тупо

сидел в холле. И в самом деле, что со мной такое? Я вдруг решил объявить Меликову, что пора мне наконец снять для себя отдельную комнату. Хотя и сам толком не знал, с какой стати: вроде бы мы друг другу не мешаем, а Меликову, кажется, вообще все равно, у него в каморке я ночую или где-то еще. Но мне почему-то это стало не все равно, захотелось попробовать, смогу ли я снова спать один в четырех стенах. На Эллис Айленде всем полагалось ночевать в спальном зале, да и во французском лагере для интернированных расклад был не лучше. Одно я знал точно: как только поселюсь в отдельной комнате, сразу начну вспоминать времена, о которых мечтаю забыть. Но делать нечего, нельзя же убегать от собственной памяти всю жизнь.

III

С братьями Леви я познакомился в тот волшебный час, когда косые лучи заходящего солнца еще заливают медовым светом витрины антикварных лавок по правую сторону улицы, тогда как окна на другой стороне уже подернулись паутиной вечерних сумерек. То был час, когда и окна, и витрины начинали жить своей особой, заемной, обманчивой жизнью отраженного света, подобно намалеванному циферблату над лавкой оптика, что дважды в сутки на какие-то секунды своим нарисованным временем совпадает с реальным. Я толкнул дверь магазинчика; один из братьев Леви – тот, что рыжий, – словно рыба в аквариуме выплыл из-за прилавка, поморгал, чихнул, щурясь на золотистый закат, снова чихнул и лишь после этого соизволил заметить меня – зачарованного зеваку, наблюдающего, как витрина его антикварной лавки превращается в пещеру Аладдина.

– Дивный вечерок, – заметил он, ни к кому конкретно не обращаясь.

Я кивнул.

– И бронза у вас дивная.

– Подделка, – пренебрежительно бросил он.

– Значит, она не ваша?

– Это почему же?

– Ну, раз вы сами признаете, что она подделка.

– Я говорю, что эта бронза подделка, потому что она подделка.

– Такая откровенность дорогого стоит, – заметил я. – Особенно из уст продавца.

Леви снова чихнул, снова поморгал, потом чихнул еще раз.

– Я покупал ее как подделку, как подделку и продаю. У нас тут все без обмана!

Меня восхитило столь решительное сближение понятий «подделки» и «без обмана», особенно в эту минуту, когда витрины и зеркала морочат взгляд отражениями.

– И вы не допускаете, что она тем не менее может оказаться подлинной? – спросил я.

Леви вышел из лавки на тротуар и внимательно оглядел бронзовую вазу, возлежащую на американском кресле-качалке.

– За тридцать долларов можете забирать, – заявил он. – И к ней еще подставку тикового дерева в придачу. Резную! Всех денег у меня оставалось долларов восемьдесят.

– А можно мне забрать ее на пару дней? – поинтересовался я.

– Платите, и можете забрать хоть на всю жизнь.

– Бронзу не так-то просто разбить. Особенно поддельную. Леви стрельнул в меня взглядом.

– Не верите, что она поддельная?

Я не ответил.

– Оставляйте мне тридцать долларов, – решил он. – Можете забрать на неделю, потом вернете. А если надумаете оставить у себя и продать, все, что сверху, пополам. По рукам?

– Вообще-то это не предложение, а чистый грабеж. Но я согласен.

* * *

Полной уверенности у меня не было, поэтому я и взял бронзу только на время. Отнес домой, поставил у себя в комнате. Между делом Леви-старший обмолвился, что вообще-то ваза из нью-йоркского музея, но там ее выбраковали как подделку и списали. В тот вечер я больше никуда не пошел. И, когда стемнело, свет зажигать не стал. В пору брюссельского музейного заточения я усвоил одно: если на вещь долго смотреть, она заговорит, рано или поздно, причем действительно ценная, подлинная заговорит скорее поздно, чем рано. Во время ночных блужданий по музейным залам я иной раз брал какой-нибудь экспонат к себе в каморку – подержать в руках, познакомиться поближе. И нередко это была как раз бронза: музей славился своей коллекцией старинной китайской бронзы; вот я и брал, разумеется, с разрешения своего покровителя, то одну, то другую вещицу к себе в дневное узилище. Директор мне это позволял, ведь он и сам имел обыкновение забирать домой предметы из музейной экспозиции, когда ему это требовалось для ра-

боты, а если кто-то из сотрудников замечал отсутствие, спокойно объяснял, мол, экспонат у него дома. И мало-помалу я научился распознавать патину на ощупь, да и на вид, по фактуре, – даром, что ли, я столько ночей перед музейными витринами проторчал, пусть при дневном свете никогда эту бронзу не видел. Известно же, что у слепых развивается невероятно чуткое осязание, вот и у меня со временем что-то похожее выработалось. Я, правда, не слишком на это свое чутье полагался, но иногда, сам не знаю почему, бывал в своем решении совершенно уверен.

Там, в антикварной лавке, эта ваза мне на ощупь сразу понравилась; рельефы, правда, очень четкие – это, вероятно, музейных экспертов и насторожило, – однако все равно они не ощущались как новые. Нет, не такая это была четкость, и когда я, закрыв глаза, медленно, тщательно их ощупывал, впечатление, что вещь подлинная, только усиливалось. Похожую бронзу мне случалось держать в руках и в Брюсселе – там тоже сначала думали, что это копия эпохи Тан или Мин. Ведь китайцы уже в эпоху Хань, по-нашему в первые годы от Рождества Христова, наловчились делать копии своей старинной бронзы эпохи Шан и Чжоу: закапывали новехонькие подделки в землю, чтобы потом выдавать за подлинные. Если при отливке сосуда в орнаменте характерных мелких изъянов нет, по одной только патине определить такую подделку очень непросто.

Я поставил вазу обратно на подоконник. Со двора доноси-

лась звонкая перебранка посудомоек, громыхание мусорных ведер и гортанный бархатный бас негра, который эти ведра выносит. Вдруг дверь распахнулась. В освещенном проеме я успел разглядеть силуэт горничной – та в испуге отшатнулась.

– Никак помер!

– Вздор! – буркнул я. – Я сплю. Дверь закройте. Постель я уже без вас расстелил.

– Ничего вы не спите! А это еще что такое? – Она вытаращилась на бронзу.

– Ночной горшок, зелененький, – объяснил я, – разве не видно?

– И чего только в номер не натаскают! Но учтите: утром я это за вами выносить не стану! Так и знайте! Сами выносите! У нас клозетов достаточно!

– Договорились.

Я снова лег и, сам того не желая, тут же заснул. А проснулся уже среди ночи. Вообще не соображая, где нахожусь. Потом углядел на подоконнике вазу и чуть было не решил, что я опять в музее. Сел на кровати, стараясь дышать поглубже. «Ты уже не там, – неслышно уверял я сам себя. – Ты спасся, ты свободен, слышишь, свободен, свободен, свободен, – словечко «свободен» я повторял снова и снова, прибегая к примитивному самовнушению, повторял теперь уже вслух, негромко, но настоятельно, до тех пор, пока не успокоился. Я часто пользовался этой уловкой в пору скитаний,

когда просыпался среди ночи от очередного кошмара. Сейчас я посмотрел на бронзу, которая едва приметным мерцанием слабо отсвечивала даже в ночной тьме, и вдруг ясно почувствовал: она живая. И дело не столько в форме, сколько в патине. Да, эта патина жила своей жизнью, ее не наносили поддельным мертвенным слоем, не вытравливали кислотами, чтобы добиться нужной шероховатости, нет, эта патина созревала сама, медленно, сквозь мглу веков, сперва вылеживаясь в воде, потом вбирая в себя соли и соки земных недр, срастаясь с минералами почвы, а вдобавок, очевидно, не одно столетие наливаясь фосфорными соединениями от соседства с бранными останками мертвого тела, – во всяком случае, каемка мерцающей голубизны у основания вокруг донца позволяла предполагать именно это. Да, патина слабо светилась – точно так же, как светилась в музее неполированная бронза эпохи Чжоу, поскольку ее пористая поверхность не поглощает свет, как это свойственно искусственно отполированной бронзе, а становится как бы слегка шелковистой, вроде грубой чесучи.

Я встал, подошел к окну и сел там. И долго так сидел, боясь вздохнуть, в полном безмолвии все глубже погружаясь в созерцание и чувствуя, как в этой зачарованности мало-помалу растворяются все мои мысли.

Я подержал у себя бронзу еще два дня, потом снова отправился на Третью авеню. На сей раз в лавочке был второй из братьев Леви, внешне почти не отличимый от первого, разве что на вид чуть поэлегантней и поделикатней, насколько это вообще возможно при его спекулянтском ремесле.

– Все-таки возвращаете бронзу? – спросил он, вытаскивая бумажник в намерении выдать мне мои тридцать долларов.

– Вещь подлинная, – сказал я.

Он глянул на меня с веселым любопытством.

– Но в музее ее забраковали.

– Я считаю, она подлинная. Вот, возвращаю, вам сподручней ее продать по настоящей цене.

– А ваши деньги?

– Отдадите мне вместе с половиной прибыли. Как договаривались.

Леви полез в правый карман, достал оттуда десятидолларовую купюру, поцеловал ее и сунул в левый карман.

– На что позволите вас пригласить? – учтиво спросил он.

– С чего вдруг? Или вы мне поверили? – Я был удивлен и приятно тронут. Слишком я привык, что мне никто никогда не верит: ни полицейские, ни женщины, ни инспектора в департаментах иммиграции.

– Да нет, – ответил Леви-младший, все еще лучась от ра-

дости. – Просто мы с братом заключили пари: пять долларов ему, если вы вернете вазу, согласившись, что она подделка, или десятка мне, если вы решите, что она подлинная, но все равно вернете.

– Похоже, вы в семье главный оптимист.

– Только в делах. А брату приходится исполнять роль пессимиста. Так мы распределяем риски в эти нелегкие времена. Потому что совмещать то и другое одному человеку нынче не под силу. Как насчет чашечки кофе?

– Вы венец?

– Да. Считайте, уже венский американец. А вы?

– Венец в душе и гражданин мира поневоле.

– Отлично. Тогда выпьем кофею у Эммы, это напротив. По части кофе американцы сущие варвары. Они либо безбожно его переваривают, либо готовят с утра на весь день. Эти люди способны часами держать кофейник на раскаленной плите и не понимают, зачем надо заваривать свежий кофе. Эмма так не делает. Она чешка.

Мы пересекли бурный уличный поток. В нем, кстати, и воды хватало: поливальная машина веером струила ее во все стороны. Нас чуть не раздавил лиловый фургончик, развозящий детские пеленки. Леви в последнюю секунду увернулся грациозным прыжком. Только тут я заметил, что на нем лакированные туфли.

– Разве вы с братом не одногодки? – полюбопытствовал я.

– Близнецы. Но для удобства покупателей разделились: он

у нас старший, я младший. Хотя он старше всего на три часа. Но благодаря этому он по зодиаку Близнец, а я уже Рак.

Неделю спустя владелец фирмы «Лу и Ко», эксперт по китайскому искусству, вернувшись из деловой поездки, зашел в лавочку братьев. И решительно отказался понимать, с какой стати музей посчитал вазу подделкой.

– Это, конечно, не шедевр, – заявил он. – Но, несомненно, подлинная бронза эпохи Чжоу. Поздней поры. Уже на переходе к Хань.

– И сколько же она, по-вашему, может стоить? – спросил Леви-старший.

– На аукционе в галерее Парка и Бернета сотни четыре, от силы пять, за нее можно выручить, но вряд ли больше. Китайская бронза нынче дешево идет.

– Это почему же?

– Да потому что все дешево! Война! А на китайскую бронзу среди коллекционеров сейчас не так уж много охотников. Могу вам дать за нее три сотни.

Леви покачал головой.

– Думаю, я сперва должен предложить ее обратно музею.

– Это еще с какой стати? – изумился я. – К тому же она наполовину моя. И вы собираетесь вернуть ее за жалкие пятнадцать долларов, которые, должно быть, музею заплатили? Так не пойдет!

– Может, у вас еще и расписка имеется?

От возмущения я потерял дар речи. Леви предостерегаю-

ще поднял руку.

– Секундочку! Прежде чем вы начнете скандалить, объясняю: это вам урок на будущее. На все берите расписку. Я в свое время вот так же обжегся.

Я все еще не сводил с него негодующего взгляда.

– Я пойду в музей и скажу им, что эту бронзу уже почти продал. Как оно и есть на самом деле. И предложу выкупить ее у меня обратно, потому что Нью-Йорк – большая деревня. По крайней мере, среди нас, антикваров. Через пару недель всем будет известно, как они в музее опростоволосились. Теперь понимаете? И уж вашу долю я с них стребую.

– Это сколько же?

– Сто долларов.

– А сами сколько загребете?

– Половину того, что сверх вашей сотни. Идет?

– Для вас, наверно, это просто забава, – буркнул я. – А я рисковал почти половиной всех своих денег.

Леви-старший рассмеялся. Продемонстрировав золотые россыпи во рту.

– К тому же это вы все раскрыли. Теперь-то и я примерно представляю, как все произошло. Они взяли на работу нового куратора, из молоденьких. А тому захотелось показать, что прежний куратор ничего не смыслил и приобретал подделки. У меня к вам предложение. У нас внизу, в подвале, еще полно вещей, в которых мы мало что смыслим. В конце концов, все знать невозможно. Как насчет того, чтобы вы

взялись все это просматривать? Скажем, за десять долларов в день – и за премиальные, если посчастливится обнаружить что-нибудь стоящее.

– Это что, вроде как премия за бронзу?

– Что-то вроде. Работа, разумеется, временная. С лавкой-то мы с братом вполне и сами управимся. Ну как, идет?

– Идет, – сказал я, глядя на поток людей и машин за стеклом витрины. «Иной раз даже от страха бывает толк, – думал я, стараясь не показать волнения. – Когда страшно, главное – не зажиматься. Когда ты зажат, ты уязвим. А жизнь – она как мячик, – думал я. – Она всегда в равновесии».

* * *

– Пятьдесят миллионов убитых! – распалялся Леви-старший. – Сто миллионов! Человечество достигло прогресса только по части массовых убийств. – Он в ярости откусил кончик сигары. – Вы способны такое понять?

– В Германии человеческая жизнь ценится дешевле, – сказал я. – В концлагерях подсчитали, что труд одного еврея, ну, если брать молодого и работоспособного, приносит в среднем одну тысячу шестьсот двадцать марок. Его за шесть марок в день выдают в распоряжение немецкой индустрии в качестве рабской рабочей силы. Минус шестьдесят пфеннигов в сутки, положенных ему в лагере на пропитание. Минус еще десять пфеннигов в день на износ лагерной робы. Средняя

выживаемость такого работяги в лагере – девять месяцев. Итого чистая прибыль – тысяча четыреста марок, даже чуть больше. Плюс доход от посмертной утилизации: золотые коронки, имущество при поступлении в лагерь: одежда, ценности, наличные деньги, волосы... За вычетом двух марок на кремацию все вместе дает на круг тысяча шестьсот двадцать марок чистой прибыли. Правда, в минус пойдут бесполезные женщины и дети: газовая камера или кремация для них – это шесть марок, туда же больные и старики. Но все равно, в среднем выгода – это по самым скромным подсчетам – составляет не меньше тысячи двухсот марок.

Леви побелел.

– Это правда? – спросил он.

– Так ведь подсчитано. Самими немецкими властями и подсчитано. Впрочем, возможно, еще будут уточнения. Главная трудность отнюдь не само умерщвление. Главная трудность, как ни парадоксально, – устранение трупов. На сжигание трупа как-никак требуется определенное время. Тем более на сколько-нибудь удовлетворяющее требованиям гигиены захоронение в землю: когда счет идет на десятки тысяч, это непростая задача. А крематориев не хватает. К тому же по ночам их не везде можно использовать. Их же видно с самолетов. Немцам, беднякам, и вправду не позавидуешь. Тем более что они только мира желают, мира и ничего, кроме мира.

– Это как же?

– Да очень просто. Если бы весь мир согласился принять требования Гитлера, не было бы никакой войны.

– Тоже мне остряк! – буркнул Лахман. – Остряк-самоучка! Бог мой, разве над этим шутят? – Он удрученно понурил рыжую голову. – Как такое вообще возможно? Вот вы понимаете?

– Нет. Но приказ ведь сам по себе почти всегда штука бескровная. А с него все начинается. Тому, кто сочиняет приказ за письменным столом, за топор хвататься не нужно. – Я смотрел на бедолагу Лахмана почти с сочувствием. – А охотники исполнять приказ всегда найдутся, особенно в Германии.

– Даже кровавый приказ?

– Кровавый и подавно. Ведь приказ избавляет от ответственности. Значит, можно развернуться, отвести душу.

Леви запустил руку в волосы.

– И вы через все это прошли?

– Да, – ответил я. – И не скажу, чтобы я об этом не сожалел.

– Ну вот мы сейчас здесь, – сказал Леви. – В лавчонке на Третьей авеню, в мирный день. Что вы при этом чувствуете?

– Что нет войны. Что это не война.

– Я не о том. Как вы воспринимаете, что люди спокойно живут-поживают, когда на земле творится такое.

– Люди живут-поживают, но не спокойно. Они знают, что идет война. Правда, для меня это какая-то странная война,

не реальная. Настоящая война только та, что у тебя на родине. Все остальное вроде как не взаправду.

– Но люди-то гибнут взаправду.

– Человеческое воображение не очень в ладах с арифметикой. И считать умеет, по сути, только до одного. До того, кто тебе близок.

Колокольчик на дверях лавки зазвонил. Женщина в красном платье надумала приобрести серебряный персидский бокал. Вот только подойдет ли он в качестве пепельницы? Воспользовавшись благоприятной минутой, я незаметно удалился в подвал, – неожиданно поместительный, длинный, похожий скорее на туннель под проезжей частью улицы. Ненавижу подобные разговоры. Меня бесит их неосведомленность и бессмысленность. Пустопорожняя болтовня людей, которые там не были, но полагают, будто повозмущавшись, уже совершили нечто полезное. Праздное утешение для говорунов, не изведавших настоящей опасности. Зато как же хорошо в прохладном подвале: ты тут как в комфортабельном бомбоубежище. В бомбоубежище коллекционера. Где-то над головой, словно далекий гул пролетающих самолетов, приглушенный рокот легковушек и громохание грузовиков. И только со стен беззвучным укором прошлого на тебя взирает антикварная старина.

Поздно вечером я вернулся к себе в гостиницу. Леви-старший по доброте душевной выплатил мне аванс в полсотни долларов. О чем, впрочем, почти сразу же пожалел – от меня и это не укрылось. Но идейная серьезность недавнего разговора не позволяла ему потребовать деньги назад. Вот такой неожиданный прок от пустопорожней болтовни.

Меликова я на месте не застал, зато почти сразу появился Лахман. Как всегда, взбудораженный и потный.

– Ну как, сработало? – поинтересовался я.

– Что?

– Лурдская вода, спрашиваю, сработала?

– Лурдская? Ты имеешь в виду – иорданская вода! Что значит «сработала»? Думаешь, это так просто? Но я на верном пути. И все равно: эта женщина сводит меня с ума. Меня бросает из жара в холод, как между Сциллой и Харибдой. Это ужасно изматывает

– Между Сциллой и Харибдой?

– Да ладно, будто не знаешь. Легенды и мифы древней Греции. Проход между двумя скалами, ловушка для мореплавателей. Вот и я лавирую, лавирую без конца, иначе мне крышка. – Он метнул на меня затравленный, полный отчаяния взгляд. – Если я в самое ближайшее время ее не добьюсь, я стану импотентом. Ты же знаешь, у меня комплекс,

очень тяжелый. И уже снова кошмары начались. Я просыпаюсь с криком, в холодном поту. Не забывай: эта шпана, они же хотели меня кастрировать. Ножницами, даже не ножом! А как они гоготали! И теперь, когда у меня долго нет женщины, мне начинает сниться, что они так и сделали. Просто жуть, а не сны! Совсем как наяву! Я уже с постели вскакиваю, а в ушах все еще гогот стоит.

– Так переспи со шлюхой.

– Не могу. Со шлюхами я уже импотент. И с нормальными женщинами тоже. По этой части они уже своего добились.

Лахман встрепнулся, прислушался.

– Она идет! Мы ужинаем сегодня в «Голубой ленте», она любит жаркое в маринаде. Пойдем с нами! Может, хоть ты на нее повлияешь. Ты же у нас говорить мастер.

Я уже слышал со стороны лестницы глубокое, воркующее контральто.

– Извини, времени нет, – сказал я. – Слушай, а вдруг у нее из-за ампутированной ступни такой же комплекс, как у тебя?

– Ты считаешь? – Лахман уже вскочил. – Ты правда так думаешь?

Конечно, я брякнул это просто так, не подумавши, лишь бы его утешить. Но увидев, до чего он всполошился, тут же проклял себя за болтливость: ну кто меня за язык тянет? Ведь Меликов же ясно сказал: эта красотка спит с мексиканцем. Однако сказанного не воротишь, да и Лахман не станет ничего слушать – вон как заковылял к своей зазнобе.

Я отправился к себе в комнату, но свет зажигать не стал. Напротив еще кое-где светились окна, в одном я увидел мужчину, надевающего дамское белье. Он стоял перед зеркалом, голый, волосатый, и наводил макияж. Потом натянул голубенькие трусики и застегнул бюстгальтер, в чашечки которого предварительно набил туалетной бумаги. Он настолько поглощен был этим занятием, что позабыл задернуть занавески. Мне уже случалось несколько раз встречать его на улице: в мужском обличье он был скорее робок, зато в женских нарядах очень даже боек. Любил покрасоваться в широченных мягких шляпах и вечерних платьях. Полиции он давно известен, зарегистрирован как неизлечимый. Какое-то время я еще продолжал наблюдать за его маскарадом, потом мне стало тошно, что и немудрено при созерцании подобного зрелища, и я отправился вниз дожидаться Меликова.

IV

Лахман дал мне адрес Харри Кана. О его легендарных деяниях я был наслышан еще во Франции. Он выдавал себя за испанского консула в Провансе, когда немецкая оккупация на юге страны была формально снята и сменилась коллаборационистским режимом правительства в Виши, которое все слабей и слабей пыталось протестовать против повседневных бесчинств гитлеровцев.

Так вот, этот самый Кан в один прекрасный день объявился в Провансе с испанским дипломатическим паспортом на имя Рауля Тенье. Откуда у него этот паспорт, не знал никто. Собственно, по некоторым версиям, паспорт вроде бы даже был французский, но с испанской визой, удостоверяющей, что Кан действительно является вице-консулом Испании в Бордо; другие, однако, утверждали, будто паспорт все-таки был испанский – они, мол, своими глазами видели. Сам Кан хранил на сей счет каменное молчание, предпочитая словам действия. Разъезжая в лимузине с дипломатическим номером, щеголяя в элегантных костюмах, он прежде всего поражал своим отчаянным, на грани наглости, хладнокровием. И пускал пыль в глаза с таким блеском, что даже эмигранты верили: уж у него-то все без туфты. На самом деле, скорей всего, ничего, кроме туфты, у него за душой и не было.

Кан свободно колесил по всей стране. Особую пикантность этим разъездам придавало то обстоятельство, что совершались они якобы уполномоченным представителем другого диктатора, который, разумеется, об этих полномочиях и представительстве ни сном ни духом не ведал. О подвигах Кана ходили легенды. Дипломатические номера на лимузине, правда, в то время еще обеспечивали ему какое-то прикрытие. Свою откровенно еврейскую наружность он заносчиво выдавал за наследие благородных испанских грандов, а когда его останавливали на контрольно-пропускных пунктах, мгновенно напускал на себя такую спесь, что не только солдаты, но даже эсэсовцы тушевались и предпочитали, во избежание нагоняя от начальства, с этим горлопаном не связываться. Кан довольно быстро усвоил, что немцу внушает уважение, когда на него орут, и с тех пор в выражениях не стеснялся, благо Испания и Франко числились у Гитлера в самых верных друзьях. А поскольку любая диктатура порождает страх и неуверенность и в собственных рядах, особенно среди низших чинов, ибо она трактует законы своевольно, а значит, и небезопасно применительно к любым поступкам, если они, паче чаяния, не совпадут с постоянно меняющимися установками сверху, – постольку и Кан этой всеобщей трусостью пользовался, благо она, наряду с жестокостью, неизбежно оказывается логическим следствием всякой деспотии.

Кан, конечно, был связан с Сопротивлением. Вероятно,

оттуда у него и деньги всегда водились, и машина была, и, главное, бензин. Бензина у Кана всегда было вдоволь, хотя нехватка его ощущалась в ту пору везде и во всем. Он перевозил листовки и первые подпольные газеты – небольшие, на две странички, памфлеты-агитки. Мне, помню, рассказывали, что его однажды остановил немецкий патруль и хотел было произвести досмотр машины, а Кан как раз вез партию подрывной литературы. Так он поднял такой крик, что патрульные попятились и в панике чуть не бегом от него драпали. А Кан еще за ними и погнался, а на следующем посту на них пожаловался – правда, предварительно избавившись по пути от опасного груза. И добился в итоге, что командир части лично принес ему извинения за бестолковость своих подчиненных. Наконец, Кан с удовлетворенным видом попрощался с ним фалангистским приветствием, милостиво выслушав в ответ чеканное, навтыяжку: «Хайль Гитлер!» И лишь после обнаружил у себя в машине два пакета прокламаций, которые по недосмотру забыл выбросить.

У него, случалось, бывали на руках и бланки испанских паспортов. Эти паспорта многим эмигрантам спасли жизнь: с ними можно было на Пиренеях перейти границу. Паспортами этими он снабжал беглецов, которых разыскивало гестапо. Кан умудрялся прятать их во французских монастырях до тех пор, пока не предоставлялась возможность переправить их за кордон. Мне лично известны два эпизода, когда он сумел предотвратить насильственное выдворение

немецких эмигрантов обратно в Германию. В первом случае он исхитрился внушить фельдфебелю, что Испания особенно заинтересована в задержании у себя данного заключенного, поскольку тот свободно владеет иностранными языками и его намерены направить в разведшколу, а затем как перевербованного агента использовать для работы в Англии; во втором случае он сперва усердно накачивал охранников коньяком и ромом, а напоив, пригрозил заявить куда следует, что те склонны к подкупу.

Потом, когда Кан вдруг пропал, самые мрачные слухи о его загадочном исчезновении стали разлетаться, словно черные вороны. Он ведь и вправду был один в поле воин, и каждый понимал, чем такое может кончиться. К тому же и действовал он с каждым разом все отчаянней, все безрассудней, словно нарочно бросая вызов судьбе. А потом вдруг сгинул – ни слуха ни духа. Лично я давно считал его погибшим: немцы либо забили его насмерть в концлагере, либо запытали, подвесив на крючьях, словно освежеванную тушу на скотобойне. А тут вдруг услышал от Лахмана, что и Кан, оказывается, тоже уцелел.

* * *

Кана я разыскал в магазине, где как раз передавали по радио речь президента Рузвельта. Через открытые двери магазина приемник горланил на всю улицу. Перед витриной тол-

пились слушатели.

Я попробовал было заговорить с Каном. Куда там – орущее радио разве перекричишь. Кан с извиняющимся видом только пожал плечами, кивнул на приемник, на толпу на улице и беспомощно улыбнулся. Я понял: для него речь Рузвельта – важное событие, и важно, что люди ее слушают, да и сам он хотел бы без помех ее дослушать. Что ж, коли так, я сел возле окна, достал сигарету и тоже стал слушать. Да и почему бы не послушать политика, чьими стараниями нашему брату изгнаннику дозволено въезжать в Америку?

Кан оказался худеньким, пожалуй, даже щуплым брюнетом, но его огромные черные глаза мерцали неукротимым огнем. На вид моложавый, никак не старше тридцати. Ничто в его облике не говорило о былых геройствах, скорее это было лицо поэта – столько глубины и живой открытости сохранили эти черты. Впрочем, Рембо и Вийон тоже были поэтами, да и кому, как не поэту, могло взбрести в голову все, что этот Кан вытворял.

Приемник внезапно умолк.

– Вы уж извините, – сказал Кан, – но мне нужно было дослушать речь до конца. Видали, сколько людей собралось? А ведь часть из них готовы этого президента убить, у него здесь полно врагов. Их послушать, так это он вовлек Америку в войну и только он несет ответственность за американские боевые потери.

– В Европе?

– И на Тихом океане тоже. Хотя там, впрочем, с него эту ответственность все-таки сняли японцы. – Говоря это, Кан пристально в меня всматривался. – Мы раньше нигде не встречались? Может, во Франции?

Я поведал ему о своих невзгодах.

– И когда же вам надо выметаться из страны? – поинтересовался он.

– Да уже через две недели.

– И куда?

– Понятия не имею.

– В Мексику, – прикинул он. – Или в Канаду. В Мексику, пожалуй, проще будет, там и власти добрей: они еще испанских беженцев принимали. Надо будет обратиться в посольство. Что у вас с документами?

Я рассказал. Улыбка скользнула по его лицу.

– Вечно одно и то же, – пробормотал он. – И вы, verstehtes, с этим паспортом расставаться не желаете?

– Разумеется. Мне без него никак. Больше-то у меня ничего нет. Если признаюсь, что и паспорт не мой, меня сразу посадят.

– Посадить, может, уже и не посадят. Но и толку от этого паспорта тоже никакого. У вас сегодня на вечер что-нибудь намечено?

– Да нет, конечно.

– Тогда зайдите за мной часов в девять. В этом деле нам без помощи не обойтись. И я, пожалуй, знаю местечко, где

нам сумеют помочь.

* * *

Круглое краснощекое личико под всклокоченной шапкой мелких кудряшек обдало меня сиянием распахнутых глаз, точно ласковая полная луна на ночном небосклоне.

– Роберт! – воскликнула Бетти Штайн. – Бог мой, какими судьбами? Давно ли вы здесь? И почему я ничего о вас не слыхала? Но вы-то сами уж могли бы объявиться! Только где там, у вас, конечно, дела поважней, чем обо мне вспоминать... Вот оно, значит...

– Так вы знакомы? – спросил Кан.

Еще бы... Да разве можно представить, чтобы любой, кого подхватило и понесло нынешнее переселение народов, не знал Бетти Штайн? Она стала доброй матушкой для всех эмигрантов, как прежде, в Берлине, была доброй матушкой для всех актеров, художников, литераторов, еще не познавших успеха и славы. Доброта и радушие переполняли ее щедрое сердце и проливались на всякого, кто способен этот шквал вынести. Ибо ее милосердие обрушивалось без разбора на всех и каждого, нередко оборачиваясь настоящей тиранией доброты. Кто-то эту тиранию терпел, а кто-то не выдерживал и поднимал бунт.

– Знакомы, как видите, – ответил я Кану. – Правда, несколько лет не виделись, а все равно не успеешь войти –

тебя уже с порога осыпают упреками. Ничего не поделаешь: норы, русская кровь играет.

– Да, я родом из Бреславля, – запальчиво подтвердила Бетти Штайн. – И по-прежнему этим горжусь.

– У каждого свои доисторические предрассудки, – невозмутимо заметил Кан. – Это хорошо, что вы знакомы. Наш приятель Росс нуждается в помощи, советом и делом.

– Росс? – изумилась Бетти.

– Да, Бетти, Росс, – подтвердил я.

– Он что, умер?

– Да, Бетти. И я теперь вместо него. Вроде как наследник.

– Понятно.

Я вкратце обрисовал свое положение. Бетти немедленно и с жаром принялась обсуждать с Каном различные возможности, и по всему чувствовалось, что Кан с его героическим прошлым все еще пользуется здесь огромным уважением. Я тем временем осмотрелся. Комнатка была скорее скромных размеров, но все здесь уже отражало характер Бетти. На стенах – во множестве фотографии, почти все с велеречивыми дифирамбами в адрес хозяйки. Я вчитывался в подписи: некоторых из дарителей уже не было в живых. Шестерым в этой фотогалерее так и не удалось вырваться из Германии, но был и один, который туда вернулся.

– Почему Форстер-то у вас в траурной рамке? – изумился я. – Ведь он жив.

– Потому что он вернулся, – ответила Бетти, снова обра-

тив на меня свои круглые очи. – А знаете, почему он вернулся?

– Потому что не еврей и очень тосковал по родине, – вместо меня ответил Кан. – И английского не знал.

– Потому что в Америке нет полевого салата! – торжествующе объявила Бетти. – Из-за этого он и тосковал!

Приглушенные смешки со всех сторон. Как они мне знакомы – эти эмигрантские байки, эти шуточки, где ирония приправлена горечью, где смех на краю отчаяния. Ну, и анекдоты, конечно: про Геринга, про Геббельса, про Гитлера.

– Почему бы вам тогда просто не снять со стенки его фото? – спросил я.

– Потому что он великий актер, и я все равно его люблю. Кан усмехнулся.

– Бетти у нас всегда над схваткой, – заметил он. – Когда-нибудь, когда все это кончится, она первой встанет на защиту наших бывших друзей-приятелей, которые в Германии успели антисемитскими пасквилями отличиться и в большие нацистские чины выйти: будет объяснять, что они все это делали ради спасения евреев и во избежание еще больших злодеяний. – Он ласково потрепал хозяйку по упитанному загривку. – Разве не так, Бетти?

– Если другие стали свиньями, это еще не повод нам самим вести себя по-свински, – не без запальчивости возразила Бетти.

– На это как раз они и рассчитывают, – невозмутимо пари-

ровал Кан. – А в конце войны будут рассчитывать, что американцы, едва закончив пальбу, тотчас снова начнут слать составы с салом, маслом, тушенкой бедным, разнесчастным немцам, которые всего-навсего хотели их уничтожить.

– А как по-вашему, что немцы станут делать, если войну выиграют? Тоже сало будут раздавать? – спросил кто-то рядом и закашлялся.

Я предпочел промолчать: подобными разговорами я сыт по горло. Просто продолжил разглядывать фотоснимки.

– Беттин поминальник, – проронила хрупкая, очень бледная женщина, сидевшая на скамейке под фотографиями. – Это вот Хастенэккер.

Я сразу припомнил Хастенэккера. Вместе с другими эмигрантами, которых удалось изловить, французы запихнули его в лагерь для интернированных. Он был писатель и точно знал: если немцы его схватят, ему конец. А еще ему было известно, что в лагеря для интернированных специально навещают гестаповцы – выявлять разыскиваемых лиц. Когда до прибытия немцев оставались считанные часы, он покончил с собой.

– Обычное французское разгильдяйство, – с горечью бросил Кан. – Хотят как лучше, а другим потом жизнь расплачивать.

Мне вспомнилась еще одна история про Кана: в одном из лагерей он вынудил коменданта отпустить на волю сразу пятерых интернированных. Он так круто взял коменданта

в оборот, что трусливый чинуша, прикрывавший свою нерешительность трескотней об офицерской чести, в конце концов спасовал и ночью всех пятерых выпустил. Дело осложнялось еще и тем, что в лагере среди сидельцев было несколько нацистов. Так Кан сперва убедил коменданта этих нацистов срочно отпустить, иначе, мол, как только гестаповцы пожалуют в лагерь с проверкой, они первым делом его самого схватят. Ну, а уж потом он именно это освобождение нацистов использовал как средство вымогательства, угрожая, что донесет на коменданта по начальству, в Виши. Сам Кан называл это «поэтапным моральным шантажом». И ведь сработало!

* * *

– Как вам из Франции удалось выбраться? – спросил я у Кана.

– По тем временам – самым обычным способом. Проще говоря, чудом. В гестапо что-то унюхали, стали подозревать. И настал день, когда мне не помогли уже ни начальственные замашки, ни титул вице-консула. Меня арестовали и первым делом приказали раздеться. Дабы давней испытанной методой выяснить, не еврей ли я. Обрезан или нет. Я отнекивался до последнего, раздеваться отказывался, объяснял, что тысячи христиан тоже обрезаны, а в Америке вообще чуть не каждый мужчина. Но чем дольше я отпирался, тем

больше радовались мои дознаватели. Я был у них в руках. И им доставляло удовольствие наблюдать, как я выкручиваюсь, словно уж на сковородке. Наконец, когда я, исчерпав все доводы, в отчаянии умолк, старший из них, этакий зануд-учитель в очочках, как гаркнет:

– А теперь, жидовская морда, скидавай штаны и изволь предъявить свой обрезанный причиндал! А мы тебе его до конца обрежем, под корень, и на завтрак в глотку засунем, если не подавишься!

Его подчиненные, все, как на подбор, холеные упитанные блондины, радостно загоготали. Ну я и разделся. Тут-то они и остолбенели: ведь я не обрезан. Мой отец – да, еврей, но человек вполне просвещенный – считал, что при нашем умеренном климате этот обычай не имеет никакого смысла.

Кан усмехнулся.

– В том-то и был весь фокус. Разденься я сразу, это бы особого эффекта не произвело. А так они оказались обескуражены, да и неловко им стало. «Почему же вы сразу не сказали?» – только и спросил очкарик. – «Что?» – «Ну, что вы не из этих...» По счастью, в ту же комендатуру как раз пожаловали двое нацистов, которых я из лагеря вызволил, – путевые документы для отправки в Германию оформлять. Еще одно из чудес, без которых никого из нас давно бы не было в живых. И уж они-то, конечно, чем хочешь готовы были поклясться, что я свой. Я ведь их выручил... Это решило дело. А поскольку держался я все надменнее и молчал

все многозначительней, не упустив, впрочем, как бы между прочим упомянуть парочку очень важных имен, они не сделали того, чего я больше всего опасался: не передали меня ступенькой выше. Побоялись, что наверху им влетит за самоуправство. В итоге, когда я пообещал, что все происшедшее останется между нами, они еще чуть ли не благодарили меня и с явным облегчением отпустили на все четыре стороны. Вот уж когда я бросился наутек – и бежал до самого Лисабона. Надо уметь почувствовать, когда наступает предел всякому риску. Это как при первом, даже легком приступе *angina pectoris*⁵. У тебя и прежде, случалось, сердце побаливало, но эти сдавливающие тиски в груди порождают совсем иной страх, и к этому страху стоит прислушаться. Иначе следующий приступ может оказаться последним.

Было уже темно, а мы все еще сидели у него в магазине.

– Это ваш магазин? – спросил я.

– Нет. Работаю тут. Оказалось, я хороший продавец.

– Охотно верю.

За окном в сиянии огней, в многолюдстве прохожих вершилась ночная жизнь огромного города. Казалось, невидимое стекло витрины отгораживает и защищает нас не только от шума – мы были как бы в укрытии, будто в пещере.

– В темноте даже сигарета какая-то невкусная, – посетовал Кан. – Вот было бы здорово, если бы в темноте боли не чувствовать...

⁵ Грудная жаба, стенокардия (лат.).

– Сильнее чувствуешь то, чего боишься. Или кого?

– Да самого себя. Хотя это все фантазии. Бояться только других надо.

– Тоже фантазии.

– Да нет, – спокойно возразил Кан. – Так до восемнадцатого года полагали. А с тридцать третьего стало ясно, что все не так. Что культура – только тонюсенький слой: достаточно дождика, чтобы его смыть. И этот урок нам преподнес народ поэтов и мыслителей. Достигший, как считалось, вершин цивилизованности. И превзошедший по части зверств Аттилу и Чингисхана. С упоением совершив кульбит из цивилизованности в варварство.

– Можно, я свет включу? – спросил я.

– Конечно.

Ослепительное сияние безжалостно залило все вокруг; несколько секунд мы беспомощно мигали и щурились.

– Просто диву даешься, куда судьба иной раз вот этак забрасывает, – пробормотал Кан, доставая расческу и поправляя аккуратный пробор. – Но, когда тебя забрасывает, главное – суметь благополучно приземлиться и осесть. Начать что-то. Не ждать без толку. В отличие от других, которые... – тут он неопределенно повел рукой, – которые все ждут чего-то. Только вот чего? Что в угоду им время повернет вспять? Бедолаги! А что поделяваете вы? Что умеете? Работу какую-нибудь подыскали?

– Пристроился разбирать кладовку в подвале антиквар-

ной лавки.

– Где? На Второй авеню?

– На Третьей.

– Одно другого стоит. Это не выход. Попробуйте что-то свое затеять. Торговлю любой ерундой, хоть камнями. Заколками для волос. Я вот тоже, помимо этой работы, свое дельце завел. Для себя.

– Американцем хотите стать?

– В свое время я уже хотел стать австрийцем, потом чехом. Обе страны немцы захватили. Немного погодя я надумал стать французом – с тем же успехом. Теперь мне уже просто любопытно: может, немцы и Америку оккупируют?

– А мне вот любопытно, меня лично через десять дней на какую границу выдворять повезут?

Кан покачал головой:

– Это еще не факт. Бетти раздобудет для вас три рекомендательных письма от именитых эмигрантов. Фейхтвангер тоже готов за вас вступить, но от его поддержки здесь проку мало. Он слишком левый. Америка хоть и союзник России, но не настолько, чтобы приветствовать коммунизм. Генрих Манн и Томас Манн – да, это первый класс, но еще лучше было бы заручиться рекомендациями кого-то из американцев. Есть у меня тут один издатель, хочет, чтобы я про свою жизнь книгу написал. Я, разумеется, никогда ее не напишу, но сообщать-то ему об этом необязательно сейчас, можно и годика через два. А он вообще эмигрантами интересуется.

Наверно, выгодную тему почуял. А жажда наживы в сочетании с идеализмом – самый беспроеигрышный вариант. Завтра ему позвоню. Скажу, что вы один из тех, кого я вытаскивал из лагеря в Гюрсе.

– Я и был в Гюрсе, – сказал я.

– Правда, что ли? И удалось бежать?

Я кивнул:

– Охранника подкупил.

Кан оживился.

– Так это же прекрасно! Отыщем для вас пару-тройку свидетелей. Бетти кого только не знает. Вы-то сами никого не помните, кто в Америку перебрался?

– Господин Кан, – заметил я, – Америка – это была для нас земля обетованная. Там, в Гюрсе, мы так далеко в своих мечтах не залетали, нам бы за ограду лагеря выбраться. Да я и документов никаких не захватил.

– Это неважно. Что-нибудь раздобудем. Главное сейчас – добиться для вас продления пребывания. Скажем, на несколько недель. Или месяцев. Времени у нас мало, поэтому нам потребуется адвокат. Среди эмигрантов немало бывших адвокатов. Это уж Бетти обеспечит. Но сейчас, раз все так срочно, нам нужен американский адвокат. Бетти и тут поможет. Как у вас насчет денег?

– Дней на десять хватит.

– Это вы для себя приберегите. Нам на гонорар адвокату наскрести надо. Не бог весть сколько. – Кан улыбнулся. –

Ничего, эмигранты пока еще держатся заодно. Беда и нужда сплачивают покрепче счастья и удачи.

Я покосился на Кана. Сейчас его бледное, изможденное лицо странно омрачилось.

– У вас передо мной кое-какое преимущество, – сказал я. – Вы-то ведь еврей. И, согласно программе этой своры у нас на родине, вы не из их числа. А я вот подобной чести не удостоен. Я, получается, из их числа.

Кан удивленно вскинул на меня глаза.

– Уж не хотите ли вы сказать: «мой народ»? – В голосе его звучала неприкрытая ирония. – Вы в этом уверены?

– А вы нет?

Кан молча смотрел на меня в упор. Мне сделалось не по себе.

– Да глупости все это, – окончательно смутившись, буркнул я, лишь бы что-то сказать. – Одно с другим никак не связано.

Кан все еще не сводил с меня взгляда.

– Мой народ, – повторил он затем, но тут же осекся. – Я тоже начинаю вздор нести. Знаете что... Давайте-ка поступим совсем не по-еврейски, а именно – разопьем бутылочку беленькой.

* * *

Вообще-то выпивать мне совсем не хотелось, но отказать

я не решился. Вид у Кана был совершенно спокойный, нормальный, однако у Йозефа Бэра в Париже тоже был совершенно спокойный вид, когда я, сморенный усталостью, не стал пить с ним всю ночь напролет, а наутро, уже окоченевшего, извлекал его из петли в его убогом гостиничном номере. Люди, с корнем вырванные из всего родного и привычного, уязвимы до крайности, и любая случайность может стать для них роковой. Доведись Стефану Цвейгу в далекой Бразилии в тот вечер, когда они с женой решили покончить с собой, кого-нибудь встретить или хотя бы по телефону с кем-то поговорить, может, беды бы и не стряслось. А так он оказался совершенно один, на чужбине, среди чужих людей, да еще имел неосторожность писать там свои воспоминания, хотя как раз этого-то ему бы следовало избегать как чумы. Воспоминания его и доконали. Именно поэтому я себе такого ни под каким видом не позволяю, покуда ничего со своим прошлым поделать не могу. Но я знаю, помню: там, в прошлом, за мной остался должок, и я должен, да и хочу этот тяжелый камень с души сбросить – только для этого надо, чтобы война кончилась и я обратно в Европу перебрался.

Я вернулся в гостиницу, встретившую меня еще тоскливей, чем обычно. Решив дождаться Меликова, я уселся в унылом старомодном холле. Вокруг вроде бы никого не видно, однако вскоре – или слышалось? – до меня донеслось чье-то всхлипывание. И действительно, в углу, возле

жалкой пародии на зимний сад, сидела какая-то женщина. В скудном свете тусклой лампы я совсем не сразу разглядел, что это Наташа Петрова.

Вероятно, тоже Меликова ждет. Однако этот плач действует мне на нервы. Все еще слегка смурной от выпивки, я какое-то время колебался, потом все же решил подойти.

– Вам чем-нибудь помочь? – спросил я.

Она не ответила.

– Случилось что-нибудь?

Она только головой покачала. Потом проронила:

– С какой стати что-то должно случиться?

– Но раз вы плачете...

– И поэтому что-то должно случиться?

Я смотрел на нее, ничего не понимая.

– Но раз вы плачете, какая-то причина должна быть?

– Разве? – неожиданно резко спросила она.

В другое время я бы просто ушел, но голова была мутная, и меня заклинило.

– Вообще-то обычно бывает причина, – изрек я наконец.

– Вот как? Без причины, значит, уже и поплакать нельзя?

На все и всегда причина должна быть, так?

Честно говоря, заяви она, что только для тупых немцев всегда и на все должна быть причина, я бы не удивился. Даже чего-то в таком роде ожидал.

Но вместо этого она спросила:

– С вами такого не бывает, да?

– Нет, но представить вообще-то могу.

– Значит, не бывает?

Я мог бы, конечно, ей растолковать, что у меня, к сожалению, причин всегда было более чем достаточно. А идея горевать и плакать просто так, от общей тяготы жизни и мировой скорби, – это, на мой вкус, достояние иных, куда более деликатных столетий.

– Да как-то случая не было, – ответил я.

– Ну конечно. Да и с чего бы вам...

«Ну, началось, – подумал я. – Белая гвардия пошла в атаку».

– Прошу простить, – буркнул я, намереваясь ретироваться. Только женской истерики мне для полного счастья не доставало.

– Да все я знаю, – проронила она с горечью. – Знаю, что война, знаю, что в такое время смешно плакать без причины, а все равно реву непонятно о чем, пусть там, на фронтах, хоть сотни битв разразятся.

Я остановился.

– Это как раз я понять могу. Только при чем здесь война? Даже если где-то погибают тысячи, а ты в это время порезал пальчик, тебе все равно больно.

«Что за чушь я несу? – мелькнуло у меня. – Какое мне дело до этой истерички, пусть ревет себе, сколько влезет. Чего я тут торчу, почему не уйду?» И тем не менее я продолжал стоять, словно, кроме нее, у меня на целом свете никого не

осталось. И именно при этой мысли вдруг ясно понял: я потому только и не ухожу, что не хочу один оставаться.

– Все впустию, – продолжала всхлипывать она. – Что ни делай, все бесполезно. Мы все умрем. От смерти не убежишь.

Бог ты мой! Час от часу не легче!

– Вообще-то да, с той лишь разницей, что убегают от нее по-разному: кто-то петляет дольше, а кому-то меньше везет.

Она не ответила.

– Может, вам чего-нибудь выпить? – спросил я.

– Я эту их кока-колу терпеть не могу, – поморщилась она. – Жуткое пойло.

– А как насчет водки?

Она вскинула глаза.

– Водки? Да откуда же здесь водка, если Меликова нет? Куда он запропастился? Почему его нет?

– Чего не знаю, того не знаю. А водка у меня в номере имеется. Могу принести.

– Это очень дельная мысль, – проговорила она. А затем добавила, тотчас напомнив мне этим всех русских, кого случилось повстречать в жизни. – Почему она сразу вам в голову не пришла?

Я сходил к себе в номер, взял бутылку – оставалось в ней не так много – и нехотя пошел назад. Поскорей бы Меликов вернулся, я засяду с ним за шахматы и буду играть, пока не успокоюсь. От этой Наташи ждать особенно нечего.

Но когда я снова подошел к ней, она встретила меня совсем другим человеком. Слез как не бывало, она успела припудрить носик и даже улыбалась.

— Где же это вы полюбили водку? — спросила она. — В вашем отечестве ее, по-моему, не слишком жалуют.

— Верно, — согласился я. — В Германии пьют пиво и шнапс. Но свое отечество я давно позабыл и ни пива, ни шнапса не пью. Я, правда, и по части водки не особенно силен.

— Что же вы тогда пьете?

Беседа просто идиотская, успел подумать я, прежде чем ответить.

— Да что придется. Во Франции вино пил, когда была такая возможность.

— Франция, — проговорила Наташа. — Во что ее превратили немцы!

— Я тут ни при чем. Я в это время во французском лагере для интернированных сидел.

— И правильно! Вы же враг.

— Ну да... А до этого я в немецком концлагере обретался. Тоже как враг.

— Что-то я не понимаю...

— Я тоже, — бросил я сквозь зубы. Что за день такой дурацкий, подумал я. Все как по кругу, и мне никак не вырваться.

— Хотите еще глоток? — спросил я. Говорить и правда было совершенно не о чем.

— Спасибо. Лучше не надо. Я и до этого уже довольно мно-

го выпила.

Я молчал. На душе было тошно, хоть волком вой. Когда совсем не знаешь, куда себя приткнуть.

– Живете здесь? – спросила она.

– Да. Временно.

– Здесь все поселяются временно. Хотя некоторые потом оседают навсегда.

– И так бывает. Вы тоже здесь жили?

– Да. Но теперь уже нет. Иной раз думаю, лучше бы никогда отсюда не уезжать. А иной раз, наоборот: лучше бы мне этого Нью-Йорка никогда не видеть.

Я слишком устал, чтобы поддерживать такую беседу. Столько исповедей мне довелось выслушать, столько судеб, от невероятных до самых заурядных, мимо меня прошло, что на любопытство уже не осталось сил. А уж сетования на то, что судьба забросила кого-то в Нью-Йорк, у меня лично и подавно ни сочувствия, ни интереса вызвать не могут. Это голоса из совсем иной, почти призрачной жизни.

Наташа Петрова поднялась.

– Мне пора.

Я вдруг ощутил приступ легкой паники.

– Но разве вы не хотели дождаться Меликова? Он вот-вот придет.

– Не думаю. Вон, Феликс заступил на подмену.

И точно, теперь и я углядел этого лысого коротышку. Он стоял возле дверей и курил.

– За водку спасибо, – поблагодарила Наташа. И обволокла меня дымкой своих серых, туманно-задумчивых глаз. – Странно, однако, как мало иной раз нужно для поддержки. Даже если человека совсем не знаешь, все равно помогает.

Она кивнула мне, вставая. Сейчас она казалась еще выше ростом, чем запомнилась мне в первый раз. Ее шаги по деревянному полу стучали неожиданно громко и решительно, словно она растаптывает что-то. И эта твердая поступь как-то совсем не вязалась с ее гибкой, тоненькой фигурой, к тому же слегка покачивающейся на ходу.

Я заткнул бутылку и пошел к дверям, к Феликсу, напарнику Меликова.

– Ну что, Феликс, как дела?

– Да какие там дела, – ответил он, рассеянно поглядывая на улицу. – Ничего особенного, помаленьку.

И в эту секунду, глядя, как он безмятежно затягивается, я испытал вдруг прилив лютой зависти к этому человеку. Вспыхивающий, уверенно разгорающийся огонек его сигареты, казалось, воплощает в себе мир и покой целой вселенной.

– Спокойной ночи, Феликс, – сказал я.

– Спокойной ночи. Вы чего-то хотели? Воды? Сигарет?

– Нет, Феликс. Спасибо.

Я распахнул дверь в свою комнату. И на меня с порога, словно из засады, сразу навалилась прошлое. Я упал на кровать и уставился в серый прямоугольник окна. Сил не бы-

ло, я был беспомощен; передо мной нескончаемой чередой проплывали лица – иных я уже не мог разглядеть; я беззвучно взывал к отмщению и знал, что взываю тщетно; мысленно я кого-то душил и сам не знал кого. Оставалось лишь одно – пережить, а потом я вдруг заметил, что ладони у меня мокрые. От слез.

V

Адвокат заставил меня прождать в приемной целый час. Я догадывался, что это всего лишь давний испытанный прием – помуржить клиента, чтобы сделался поговорчивее. Но во мне давно уже муржить нечего, живого места не осталось. Так что я спокойно убивал время, разглядывая двоих клиентов, тоже дожидавшихся в приемной. Один не переставая жевал резинку, другой заигрывал с секретаршей, пытаясь пригласить ее на чашечку кофе в обеденный перерыв. Та в ответ только посмеивалась. И ее можно было понять: приставала то и дело скалил вставные челюсти, посверкивая перстнем с бриллиантовой крошкой, а заодно и обгрызенным ногтем на коротком, толстом мизинце. Напротив секретарши между двумя цветными гравюрами со сценами нью-йоркской уличной жизни красовалась табличка с одним-единственным словом: «Think!»⁶ Этот лаконичный призыв я замечал уже не раз, порой в самых неожиданных местах: в гостинице «Рубен», к примеру, он красовался перед туалетом. Вынужден признать: более живого и прусского напоминания о родине мне в Америке встречать не доводилось.

Адвокат оказался дородным увальнем с широкой и плос-

⁶ «Думай!» (англ.).

кой, как блин, физиономией, в очках с золотой оправой. И с неожиданно тонким голосом, о чем он прекрасно знал и, конечно, изо всех сил старался его понизить, говоря почти шепотом.

– Вы эмигрант? – спросил он едва слышно, не отрываясь от чтения рекомендательного письма, которое, должно быть, Бетти сочинила.

– Да.

– Еврей, разумеется?

Удивленный моим молчанием, он вскинул глаза.

– Еврей? – уже с нетерпением повторил он.

– Нет.

– То есть как? Вы не еврей?

– Нет, а что? – ответил я, удивляясь в свою очередь.

– С немцами, желающими обосноваться в Америке, если это не евреи, я не работаю.

– А почему, позвольте спросить?

– А потому, что это само собой понятно и не требует объяснений, мистер.

– Разумеется, не требует. Но ради выяснения столь очевидной истины вряд ли стоило держать меня в приемной целый час.

– Госпожа Штайн не написала мне, что вы не еврей.

– Немецкие евреи, похоже, терпимее относятся к немцам, чем американские, – съязвил я. – Позвольте тогда уж встречный вопрос: а вы еврей?

– Я американец, – ответил адвокат громче прежнего, уже тенорком. – И я не помогаю нацистам.

Я усмехнулся.

– Для вас, значит, каждый немец уже нацист?

Голос зазвучал еще громче, взлетая почти до оперных высот.

– Во всяком случае, что-то от нациста в каждом немце есть.

Я снова усмехнулся.

– А в каждом еврее что-то от убийцы.

– Это как?

Голос наконец сорвался на фальцет. Я кивнул на табличку «Думай!», такую же, как в приемной, только в позолоченной рамке.

– Или в каждом велосипедисте, – добавил я. – Старый анекдот, еще девятнадцатого года. Когда кто-то вякал, что в войне виноваты евреи, ему на это отвечали: «И велосипедисты». И если он спрашивал: «А велосипедисты почему?» – ему отвечали: «А почему евреи?» Но это когда было, двадцать пять лет назад. Тогда в Германии люди еще умели думать, хоть и не без затруднений.

Я ждал, что уж теперь-то адвокат меня вышвырнет. Но вместо этого физиономия его вдруг расплылась в широкой улыбке, сделавшись от этого еще необъятнее.

– Неплохо, – просипел он, снова пытаясь перейти на басы. – Не знал этого анекдота.

– Так он старый, с бородой, – утешил его я. – Сейчас анекдотам предпочитают стрельбу.

Адвокат снова посерьезнел.

– Зато у нас тут на анекдотах все просто помешаны, – сказал он. – Тем не менее я остаюсь при своем убеждении.

– А я при своем.

– И обосновать сумеете?

– Да уж лучше вашего. Евреи уезжали из Германии вынужденно, иначе они подверглись бы преследованиям. И совсем не факт, что они бы уехали, если бы преследования им не угрожали. А вот не евреи, выехавшие из Германии, сделали это только потому, что им ненавистен сам режим.

– Не считая агентов и шпионов, – сухо заметил адвокат.

– У шпионов и агентов с паспортами и визами обычно полный порядок.

Эту реплику адвокат предпочел пропустить мимо ушей.

– А не свидетельствует ли само ваше предположение, будто не все евреи были против нацистского режима, об антисемитских наклонностях? – с подвохом спросил он.

– Возможно. Но разве что среди самих евреев. Это ведь не мое соображение – это мысли моих еврейских друзей.

Я встал. Эта дурацкая пикировка порядком мне надоела. Нет ничего утомительнее разговора с человеком, который из кожи вон лезет, лишь бы показать, до чего он умный, особенно когда показывать-то и нечего.

– Тысяча долларов у вас наберется? – спросил этот каша-

лот.

– Нет, – отрезал я. – У меня не наберется и сотни.

Он дал мне дойти почти до двери.

– И как же вы собирались расплачиваться? – поинтересовался он.

– Знакомые хотят мне помочь. Но я лучше снова в лагерь для интернированных пойду, чем разорять их на такие суммы.

– Вы и в лагере для интернированных побывали?

– Да, – ответил я со злостью. – Даже в Германии. Там, правда, они по-другому называются.

Я уже приготовился выслушать нотацию, что в концлагерях отбывают заключение и настоящие преступники, всякие уголовники и рецидивисты, – что, кстати, правда. И уж тут бы не сдержался. Но мне не представилось такой возможности. За спиной адвоката вдруг что-то захрипело и безрадостный механический голос объявил: «Ку-ку! Ку-ку!» – и так двенадцать раз. Шварцвальдские ходики! Забытые звуки – с самого детства такого не слышал.

– Прелесть какая, – ехидно восхитился я.

– Подарок супруги, – пояснил адвокат с легким смущением. – На свадьбу.

Я удержался от вопроса об антисемитских наклонностях немецких ходиков.

Однако создалось впечатление, что именно в этой механической кукушке я обрел неожиданного союзника. Ибо адво-

кат вдруг сменил тон и почти кротко заявил мне:

– Постараюсь сделать для вас все, что в моих силах. Позвоните мне послезавтра утром.

– А что с гонораром?

– Это я обговорю с госпожой Штайн.

– Я бы все-таки предпочел быть в курсе.

– Пятьсот долларов, – бросил он. – Можно в рассрочку, если вам так легче.

– Полагаете, вы чего-то сумеете добиться?

– Отсрочки безусловно. А уж там надо действовать дальше.

– Спасибо, – сказал я. – Послезавтра я позвоню.

– Фокус-покус! – невольно вырвалось у меня чуть позже, в тесном лифте, спускавшем меня на первый этаж узкогрудого дома. Строгая дама, моя попутчица, с ласточкиным гнездом вместо шляпки на голове и белесыми щеками, с которых, едва лифт толчком остановился, посыпалась пудра, одарила меня испепеляющим взглядом. Я сделал совершенно безучастное лицо, лишь бы она не приняла мои слова на свой счет. Меня уже не раз успели предупредить: женщины в Америке чуть что вызывают полицию. «Думай!» – властно требовала табличка красного дерева на стенке лифта аккуратно над желтыми кудряшками, трепетно подрагивающими из-под увесистого ласточкиного жилища.

В кабинах лифта мне всегда делается не по себе. В них нет второго выхода, а значит, гораздо труднее улизнуть.

В молодости, помнится, я так любил одиночество. Годы бегства и скитаний, увы, научили меня одиночества бояться. И не потому только, что одиночество побуждает к раздумьям и, как следствие, навеивает мрачные мысли, а потому, что оно просто опасно. Кто вынужден скрываться, тот любит многолюдство. В толпе ты один из многих, а значит никто. В толпе ты не бросаешься в глаза.

Я вышел на улицу, и она тотчас окутала меня покрывалом тысяч и тысяч безымянных объятий. Она распахнулась мне навстречу вся, маня множеством дверей, входов-выходов, углов-закоулков, а прежде всего множеством людей, среди которых так покойно можно затеряться.

* * *

— Мы же не по своей охоте, мы поневоле усвоили повадку преступников и даже их образ мыслей, — втолковывал я Кану, с которым мы встретились пообедать возле дешевой пиццерии. — К вам, вероятно, это в меньшей степени относится, чем к нам, всем прочим. Вы-то дрались всерьез, отвечали ударом на удар, а мы просто позволяли себя избивать. Как вы думаете, мы когда-нибудь от этих страхов избавимся?

— От страха перед полицией, наверно, нет. Да это и правильно. Каждый порядочный человек боится полиции. И причиной тому наше общественное устройство. А вот от других страхов? Это уж от самого человека зависит. И са-

мое подходящее место, чтобы избавиться от страхов, именно здесь. Ведь это страна создана эмигрантами. Они и поныне ежегодно прибывают сюда тысячами и получают гражданство. – Кан даже рассмеялся. – Это же чудо, а не страна! Достаточно ответить «да» всего на два вопроса, и вы уже свой в доску! Вам Америка нравится? О да, это самая прекрасная страна на свете! Хотите стать американцем? Ну конечно, само собой! И все, вас уже дружески хлопают по плечу, вы парень что надо.

Я вспомнил об адвокате, у которого побывал с утра.

– Ку-ку! – невольно вырвалось у меня.

– Простите?

Я рассказал Кану о визите к адвокату и ходиках.

– Этот громила именем Иеговы обращался со мной как с прокаженным, – закончил я.

Кан веселился от души.

– Ку-ку! – с явным удовольствием повторил он. – Зато он взял с вас всего пятьсот долларов. Это он так извинился. Как вам пицца?

– Вкусная. Как в Италии.

– Лучше! Нью-Йорк, считайте, итальянский город. А еще испанский, еврейский, венгерский, китайский, африканский и даже истинно немецкий...

– Немецкий?

– Да еще какой! Поезжайте до восьмьдесят шестой улицы, там на каждом шагу «гейдельбергские» пивнушки, кофейни

«Гинденбург», немецко-американские гимнастические клубы, певческие объединения с ура-патриотическим репертуаром, нацистов полно, и в любой закуской стол для завсегда и, разумеется, не с веймарским, черно-красно-золотым, а только с имперским, черно-красно-белым флажком...

– Но хотя бы без свастики?

– Напоказ нет. Но по сути здешние американские немцы иной раз нацисты похлеще тамошних, немецких. Из-за океана, сквозь флер сентиментальности им теперь так дорога далекая, любезная сердцу отчизна, откуда они в свое время предпочли убраться подобра-поздорову, потому что она была к ним вовсе не так уж любезна, – язвительно заметил Кан. – Поглядели бы вы, какой там бывает разгул патриотизма – с пивным угаром, рейнскими песнопениями и проникновенными славословиями фюреру.

Я смотрел на него молча.

– Что с вами? – спросил Кан.

– Да ничего, – проронил я устало. – И все это происходит здесь?

– Американцы великодушны и снисходительны. Они не принимают всего этого всерьез. Даже несмотря на войну.

– Несмотря на войну, – повторил я. Еще одна странность, которую я никак не мог взять в толк. Эта держава ведет свои войны где-то далеко, за полсвета, за морями-океанами. Ее границы нигде не соприкасаются с неприятельскими. Она не знает вражеских бомбардировок. Не извела даже обстре-

лов.

– По-моему, война – это когда чьи-то войска пересекают границы соседних стран, – продолжил я. – А где здесь неприятельские границы? В Японии и в Германии. Оттого и война здесь какая-то ненастоящая. Солдат, правда, иной раз видишь. А раненых – ни одного. Вероятно, их где-то лечат. Или, может, их вообще не бывает?

– Бывают. И убитые тоже.

– Все равно это как-то не взаправду. Как будто и нет никакой войны.

– Есть. И еще какая.

Все это время я смотрел на улицу. Кан проследил за моим взглядом.

– Ну что, это все тот же город? – спросил он меня. – Теперь, когда вы гораздо лучше язык знаете?

– Прежде все было плоским, как на картине, а движения воспринимались как пантомима. Теперь все стало рельефнее. Появились выпуклости, возвышения, впадины. Стала слышна речь, и ты уже даже понимаешь что-то. Правда, немного, и это усугубляет ощущение нереальности происходящего. Прежде любой таксист был для тебя сфинксом, каждый продавец газет – вселенской тайной. Да и теперь любой официант для меня этаким маленький Эйнштейн, но этого Эйнштейна я все-таки с грехом пополам хоть отчасти понимаю, если он, конечно, не о своих науках рассуждает. Однако весь этот прекрасный мираж чарует лишь пока тебе ни-

чего не нужно. Но стоит чего-то захотеть – сразу начинаются трудности, и тебя из царства метафизических грез швыряет вниз, на уровень десятилетнего школяра, к тому же двоечника.

Кан заказал двойную порцию мороженого.

– Фисташки и лайм! – крикнул он пробегающей официантке. – Здесь семьдесят два сорта мороженого, – мечтательно сообщил он. – Ну, не в этой забегаловке, конечно, но в кондитерских Джонсона и в драгсторах. Сортов сорок я уже перепробовал. Для любителей мороженого эта страна суший рай. А я, по счастью, до мороженого большой охотник. И представляете, до чего благоразумно устроена эта страна: даже своим солдатам, которые бог весть где, на каком-нибудь атолле сражаются с японцами, она целыми кораблями шлет не только стейки, но и мороженое.

Он вскинул глаза на приближающуюся официантку, словно та несет ему Святой Грааль.

– Фисташки кончились, – сообщила она. – Я принесла вам мяту и лимон, о-кей?

– О-кей.

Официантка улыбнулась.

– А женщины здесь какие соблазнительные, – продолжил Кан. – Аппетитные, как все семьдесят два сорта мороженого. Еще бы, они треть своих денег тратят на косметику. А иначе женщине здесь работу не найти. Примитивные законы естества в Америке решительно не в чести. Здесь только моло-

дость в цене, а когда она проходит, волшебными ухищрениями создается ее видимость. Это, кстати, еще один раздел в ваши наблюдения о здешней нереальности.

Безмятежно и благостно внимал я Кану. Непринужденно, журчащим ручейком, текла наша беседа.

– Помните *«Послеполуденный отдых фавна»*? – разглагольствовал он. – У нас здесь совсем другой Дебюсси: *«Послеполуденный отдых сладкоежки»*. И нам с вами подобным отдыхом никогда не насладиться вдосталь. Он заглаживает шрамы на наших душах, вы не находите?

– У меня такое бывает в подвале, среди антикварных древностей. Послеполуденный отдых китайского мандарина накануне отсечения головы.

– Вам бы лучше проводить послеполуденный отдых с какой-нибудь американской девушкой. Не понимая и половины из того, о чем та щебечет, вы без малейших усилий воображения вновь окунетесь в таинственный мир неизведанного, столь манивший нас в ранние годы нашей несмышленной юности. Ведь все непонятное заведомо кажется нам таинственным. Не понимая слов, вы не испытаете жестокого отрезвления житейским опытом и обретете редчайшую возможность претворить в жизнь одно из заветных мечтаний человечества – в умудренном возрасте заново прожить раннюю пору жизни, ощутив все восторги юности. – Кан рассмеялся. – Не упустите такой шанс! Ведь с каждым днем его вероятность тает. С каждым часом вы понимаете все больше,

очарование неведения улетучивается. Но пока еще каждая женщина для вас сказочная загадка, словно экзотика южных морей для северянина, но с каждым новым усвоенным словом эти феи все больше будут превращаться для вас в обыкновенных домохозяек, уборщиц, продавщиц. Берегите как зеницу ока эту вашу вновь дарованную юность. Не успеете оглянуться, и вы состаритесь: через какой-нибудь год вам стукнет тридцать четыре.

Кан глянул на часы и махнул официантке в голубом, в полоску, фартучке.

– Последнюю порцию! Ванильное!

– А у нас еще миндальное есть!

– Тогда миндального! И немножко малинового! – Кан посмотрел на меня. – Я ведь тоже осуществляю мечту своей юности, правда, она попроще вашей, – лакомиться мороженым сколько душе угодно. Только здесь я впервые могу себе позволить такую роскошь. И для меня это символ свободы и безмятежной жизни. А ведь там, у себя, мы ни о свободе, ни о безмятежности и мечтать не могли. И неважно, в чем и каким способом мы это здесь обретаем.

Я молча шурился, глядя на пыльное марево над громокипящей улицей. Рокот моторов и шуршание шин сливались в монотонный, усыпляющий гул.

– Чем вы сегодня намерены заняться? – спросил Кан немного погодя.

– Ни о чем не думать, – ответил я. – И чем дольше, тем

лучше.

* * *

Леви-старший собственной персоной соизволил спуститься ко мне в подвал. В руках он держал бронзовую вазу.

– Что вы об этом скажете?

– А вам что сказали?

– Бронза эпохи Чжоу. Но может, впрочем, и Тан. Пatina выглядит неплохо, верно?

– Вы ее уже купили?

Леви самодовольно осклабился.

– Так я и стану без вас покупать. Принес какой-то чудик. Ждет сейчас наверху. Просит сотню. Значит, отдаст за восемьдесят. За Чжоу, по-моему, недорого.

– Даже слишком, – буркнул я, осматривая бронзу. – Сам-то он торговец?

– Да непохоже. Молодой еще. Говорит, досталась по наследству, а ему, мол, деньги нужны. Она хоть подлинная?

– Ну, это действительно китайская бронза. Но точно не эпохи Чжоу. И даже не Хань. Скорее Тан или еще позже. Сун или Мин. Копия эпохи Мин по старинному образцу. И не лучшей работы. Маски «обжоры» таоте, видите, нечеткие, да и спирали к ним совсем не подходят: такие только после эпохи Хань появились. С другой стороны, декор – это уже копия декора эпохи Тан: простой, выразительный и лаконичный.

Только вот маска «обжоры» и основной орнамент были бы гораздо рельефнее и четче, будь они действительно из эпохи Тан. Кроме того, вот таких мелких завитков на настоящей древней бронзе не бывает.

– Но патина! Патина-то очень хороша.

– Господин Леви, – сказал я, – это, несомненно, достаточно старинная патина. Но без вкраплений малахитовых окислов. Не стоит забывать: китайцы уже в эпоху Хань копировали бронзу эпохи Чжоу и закапывали в землю, получая через сколько-то лет отменную патину, хоть и не из эпохи Чжоу...

– И сколько, по-вашему, эта штука стоит?

– Долларов двадцать-тридцать, да вы лучше меня это знаете.

– Подниметесь со мной? – спросил Леви, и в его голубых глазенках сверкнули искры охотничьего азарта.

– А надо?

– Вам неинтересно?

– Прищучить очередного мелкого жулика? Чего ради? Может, кстати, он даже и не жулик. Кто в наше время хоть что-то смыслит в старинной китайской бронзе?

Леви стрельнул в меня неожиданно острым взглядом.

– Попрошу без намеков, господин Росс!

И энергично топая кривыми ножками, коротышка-толстяк поспешил вверх по лестнице, вздымая клубы пыли. Какое-то время мне была видна только его нижняя часть – колышущиеся брючины и топающие ботинки, выше пояса он

уже был в лавке. Почему-то комичный этот ракурс живо напомнил мне круп цирковой лошади, какой ее изображает пара начинающих коверных клоунов.

Немного погодя ножки Леви-старшего показались на лестнице снова. Вслед за ними тускло блеснула и бронза.

– Я ее купил, – сообщил Леви. – За двадцатку. Минь, в конце концов, тоже на дороге не валяется.

– Что верно то верно, – отозвался я. Я знал: Леви купил эту бронзу только из желания показать мне, что он тоже кое-что смыслит. Если не в бронзе, то хотя бы в торговле. Он смотрел на меня пристально.

– Сколько вам еще остается тут работать?

– Всего?

– Ну да.

– Зависит от вас. Хотите, чтобы я закончил?

– Нет-нет. Но вечно вас здесь держать мы тоже не можем. Да вы уже скоро управитесь. Кем вы раньше работали?

– Журналистом.

– А здесь почему не можете?

– С моим-то английским?

– Но вы уже прилично поднаторели.

– О чем вы, господин Леви? Я обычного письма без ошибок написать не в состоянии.

Леви в раздумье почесал лысину китайской бронзой. Будь она и вправду эпохи Чжоу, он, надо полагать, этого бы не сделал.

– А в живописи разбираетесь?

– Немного. Примерно как в бронзе.

Он ухмыльнулся.

– Это уже кое-что. Надо подумать, поспросать. Не нужен ли кому-нибудь в нашей братии толковый помощник. В антиквариате дела, правда, совсем дохло идут, сами видите. Но с картинами все иначе. Особенно с импрессионистами. На старых-то мастеров нынче никакого спроса. Словом, поживем – увидим.

И Леви бодро потопал по лестнице обратно. «Прощай, дружище подвал, – подумалось мне. – Недолго же ты был моим темным прибежищем, моим спасительным гнездом. Прощайте, позолоченные светильники конца прошлого века, и вы, пестрые аппликации 1890 года, прощай, мебель Луи-Филиппа, короля-буржуа, и вы, персидские вазы, и вы, летящие танцовщицы из гробниц династии Тан, прощайте, терракотовые скакуны и все прочие безмолвные свидетели и свидетельства отшумевших культур. Я любил вас всем сердцем и провел среди вас мое американское отрочество – от десяти лет до пятнадцатилетия. Адье! Не поминайте лихом! Невольный жилец одного из мерзейших столетий, запоздалый и безоружный гладиатор вшивых времен, я приветствую вас на этой арене, где полным-полно гиен и шакалов и почти не видно львов. Приветствую вас в твердом намерении несмотря ни на что радоваться жизни, пока меня не сожрали».

Я раскланялся на все углы, мановением руки благословляя антикварное сообщество по обе стороны прохода, потом глянул на часы. Мой рабочий день кончился. Вечер багряным заревом повис над крышами, а под ним редкие неоновые рекламы наливались белесым сиянием безжизненного, искусственного света. Из ресторанов уже доносилось зазывное благоухание жареного лука на шкварках.

* * *

– Что-то случилось? – спросил я у Меликова, придя в гостиницу.

– Рауль. Хочет покончить с собой.

– И давно?

– Да уж с обеда. Он потерял Кики. Они четыре года были вместе.

– Что-то в этой гостинице слишком много плачут, – пробормотал я, прислушиваясь к сдавленным всхлипам, что доносились из угла с растениями, тревожа сонный плюшевый покой обшарпанного холла. – И почему-то всегда под пальмами.

– В любой гостинице много плачут, – изрек Меликов.

– В отеле «Ритц» тоже?

– В «Ритце» плачут, когда обвал на бирже. А у нас – когда человек внезапно осознает, что он безнадежно одинок, хотя прежде он так не думал.

– А Кики что, под машину попал?

– Хуже. Обручился. С женщиной! В этом вся трагедия, по крайней мере, для Рауля. Согреши он с другим голубым, никто бы не стал выносить сор из избы. Но с женщиной! Переметнуться в стан заклятого врага! Это предательство. Осквернение святынь. Страшнее смерти.

– Бедные голубые. Это же вечная война на два фронта. Изволь конкурировать и с мужчинами, и с женщинами.

Меликов ухмыльнулся.

– Рауль сегодня тут целую речь произнес и по поводу женщин немало соображений высказал. Самое безобидное, по-моему, было вот какое: они, мол, как тюлени без кожи. А уж насчет столь обожаемой в Америке женской прелести, как пышный бюст, он и вовсе в выражениях не стеснялся. «Трясучее вымя для сосунков-извращенцев» – это, пожалуй, еще самое невинное. И стоит ему вообразить, как его Кики к такому вымени приникает, бедняга Рауль ревет, как резаный. Хорошо хоть ты пришел. Его в номер спровадить надо. Здесь, внизу, ему никак нельзя оставаться. Пойдем, поможешь мне. В этом буйволе центнер живого веса, никак не меньше.

Мы крадучись подошли к пальмовому закоулку.

– Он вернется, Рауль, вот увидите, – прошептал Меликов. – Оступиться может каждый. Кики вернется. Возьмите себя в руки.

Мягко подхватив бедолагу с двух сторон, мы попытались

помочь ему подняться. Но он, сотрясаясь от слез, только крепче вцепился в мраморный столик. Меликов продолжал увещевать.

– Вам надо выспаться, сон лучший лекарь. А Кики вернется, Рауль. Поверьте мне, я не первый раз такое вижу. Он вернется.

– Оскверненный! Запятнанный! – проскрежетал Рауль.

Тем не менее нам все-таки удалось его приподнять, и он тут же наступил мне на ногу. Всем своим центнером.

– Да осторожнее вы, чертова баба! – взвыл я.

– Что?

– Да-да, вы ведете себя как слезливая старая баба!

– Это я старая баба? – переспросил Рауль, как ни странно, уже более-менее нормальным тоном.

– Господин Росс не это имел в виду, – попытался вступить Меликов.

– Отчего же. Именно это я и имел в виду.

Рауль провел ладонью по глазам. Мы уставились на него, ожидая нового приступа истерики.

– Это я – баба? – повторил он снова, негромко, но смертельно обиженным тоном. – Это я – баба!

– Он не так сказал, – соврал Меликов. – Он сказал: как баба.

– Вот так тебя все и бросают. Вот так и остаешься один, – проронил Рауль, поднимаясь уже без посторонней помощи.

Мы без труда проводили его до лестницы.

– Пара часов сна, – увещевал Меликов. – Одна-две таблетки секонала и глубокий, здоровый сон. А потом – чашечка крепкого кофе. И жизнь предстанет совсем в другом свете.

Рауль не ответил. Ведь мы тоже его бросили. Весь мир его бросил.

– Какого черта вы нянькаетесь с этим боровом? – спросил я.

– Это наш лучший жилец. Две комнаты с ванной.

VI

Я бесцельно бродил по улицам: возвращаться в гостиницу было страшно. Всю ночь меня мучили кошмары, я проснулся от собственного крика. Мне и прежде, бывало, снилось, что за мной гонится полиция, а иной раз накатывал и общеизвестный кошмар всех эмигрантов: какими-то судьбами тебя забросило через границу обратно в Германию, и за тобой уже пришли эсэсовцы. Но то были сны отчаяния и досады: как же ты так глупо попался? Однако и от них случалось просыпаться с воплем ужаса, и лишь глянув в окно, где красноватыми отсветами уличных огней мерцает ночное небо большого города, вспомнив и осознав, что ты в Нью-Йорке, с облегчением переводишь дух: слава богу, ты-то спасся. Но этот сон был совсем другой, смутный, клочковатый, неотвратимо жуткий, липкий и нескончаемый. Женщина, бледная, растерянная, беззвучно звала на помощь, все глубже погрязая в болотной трясине беды, отчаяния, загустевшей крови; ее глаза, полные ужаса, неотрывно смотрели на меня; это белое лицо с черным провалом беззвучно вопиющего рта, уже захлебывающегося вязкой черной жижей, рывканье команд, молнии, чей-то лающий, пронзительный голос с саксонским акцентом, мундиры и тошнотворный трупный запах смертоубийства, паленого мяса, раскрытые жерла топок, жадные языки пламени, и какой-то человек, еле живой, еще шеве-

лится, вернее, только двигает рукой, потом уже лишь пальцем, этот палец все еще сгибается, медленно-медленно, пока на него не наступает сапог, и тут внезапно вопль – жуткий, истощенный – и раскатистое эхо со всех сторон...

Я стоял перед витриной, но не видел ничего. И совсем не сразу сообразил, что я на Пятой авеню, перед шикарными ювелирными витринами «Ван Клиф и Арпельс». Ноги сами привели меня сюда из антикварной лавки братьев Леви. Тамешный подвал, похоже, впервые показался мне тюремной камерой. Вот меня и потянуло к многолюдству, на простор широких улиц – и я очутился на Пятой авеню.

А разглядывал я, как выяснилось, диадему последней французской императрицы Евгении. На черном бархате, в матовом мерцании искусственного света она сверкала лепестками бриллиантовых цветов. Рядом плотным узором рубинов, сапфиров и изумрудов поблескивал браслет; по другую сторону, красуясь каждое своим крупным камнем-соли-тером, разложены были кольца.

– Что-нибудь взяла бы отсюда? – поинтересовалась у подруги дама в красном костюме.

– Сейчас жемчуг носят, – строго изрекла та. – Элита носит жемчуг.

– Искусственный или натуральный?

– Любой. Жемчуг и черное платье. У элиты это сейчас высший шик.

– По-твоему, значит, императрица Евгения – не элита?

– Так это когда было...

– Не знаю, – протянула дама в красном, – лично я бы от такого браслетика не отказалась.

– Слишком пестрит, – отрезала ее спутница.

Я побрел дальше. Останавливался перед витринами без разбору и наугад, разглядывая сигары и обувь, фарфор и гигантские аквариумы модных салонов с их пиршеством красок и шелков и неизменными толпами зевак на тротуаре. Я смешивался с этими толпами, мне тоже хотелось быть зевакой; я тщетно, словно рыба на прибрежном песке, жадными жабрами слуха ловил обрывки чужих разговоров, я двигался сквозь это вечернее многолюдство жизни, всеми фибрами души желая слиться с ним и плыть в нем, как все остальные, но меня несло в одиночку, и смутный шлейф мрака влачился за мной, как отдаленное завывание эриний, преследующих Ореста.

Я прикинул, не поискать ли мне Кана, но тут же понял, что ни с кем, кто напомним мне о прошлом, сейчас говорить не хочу. Даже с Меликовым. И все никак не мог отделаться от сегодняшнего ночного кошмара. Обычно-то кошмар по ходу дня развеивается сам собой, лишь поначалу омрачая душу неясной дымкой воспоминания, которая мало-помалу истивает, чтобы через пару часов исчезнуть вовсе. Однако этот исчезать не желал, он упрямо стоял перед глазами. Я всеми силами старался его заглушить, прогнать, но он не отступал ни в какую. Наоборот, только пуще нагнетал чувство угрозы,

мрачной и очень даже готовой сбыться.

В Европе мне сны снились редко, там бывало не до жиру — быть бы живу, и только здесь я поверил, что и вправду оторвался от погони. Океан своим уверенным рокотом, всей своей необъятностью проложил между мною и преследователями такие дали, что мне казалось: огромный затемненный корабль, бесшумно, словно летучий голландец, скользя между вражеских подлодок, спас меня и от других напастей, уберег от теней прошлого. Но теперь я знал: никуда они не делись, эти тени, — вот они, тут как тут. И уже проникли туда, где я бессилен с ними совладать, — в мои сны, в мир видений, который каждую ночь без всякого фундамента воздвигается из ничего, чтобы под утро рассыпаться в прах. Только вот нынешние рассыпаться не желают: вгоняя меня в холодный пот, они застыли где-то внутри липкими, смрадными клубами сладковатого тошнотворного дыма. Дыма из крематориев.

Я оглянулся. Да нет, никто за мной не следит. Томная нега дивного вечера окутала пролеты многоэтажных каменных фасадов с их тысячами мигающих оконных глаз. В два, а то и в три этажа вытянулись друг над другом ленты залитых золотистым светом витрин, похваляясь вазами и картинами, мехами и шелковыми абажурами, целыми комнатами шоколадно поблескивающей старинной мебели. Аляповатый тяжеловесный уют буржуазности наваливался со всех сторон; перед глазами как будто плыли страницы детской книжки

с картинками, которую перелистывает беспечный божок расточительства, добродушным шепотком приговаривая: «Берите! Берите! Тут на всех хватит!»

Какая идиллия! Какая упоительная вечерняя прогулка в мирок внезапно воспрянувших иллюзий, былых влюбленностей, увядших, а тут вдруг снова проснувшихся надежд, торопливо зазеленевших под теплым дождичком самовнушения и самообмана; о, этот час мнимого всемогущества, час желаний и напроць забытых унижений, час обольстительных истин, когда даже генералы и политики не только допускают, но ненадолго и вправду чувствуют, что они тоже живые люди и тоже смертны.

До чего же влечет меня эта страна, что прихорашивает и гримирует даже мертвецов, обожествляет молодость, но посылает своих солдат за тридевять земель, в края, о которых те и знать не знали, геройски погибать там неведомо за что. Первые граждане мира в военных мундирах.

Почему мне не дано со всем этим сродниться? Почему суждено до конца дней так и проскитаться с племенем безродных изгнанников, что с замиранием сердца, трепеща душой, взбираясь по бесконечным лестницам, поднимаясь в лифтах, беспомощно лопоча на ломаном жалком английском, мыкаются с этажа на этаж, из кабинета в кабинет, где их терпят, но не любят, и где сами они заранее любят всех только за то, что их терпят?

Я стоял перед витриной табачного магазина «Данхил».

Вальяжно лоснясь, отливая холеной полировкой, передо мной красовались курительные трубки, эти символы буржуазного уюта и довольства, суля безмятежный покой неспешных вечерних бесед, а перед отходом ко сну – не выветрившийся еще аромат меда, рома, дорогого махрового табака у тебя в волосах и укромное шебаршение в ванной миловидной, может, даже слегка пухленькой, но уж точно не исхудалой женщины, что свершает вечерний туалет, готовя себя к ночи в мягкой, просторной постели. Как же далеко все это от черных «галуаз», скуриваемых до обжигающего пальцы и почти с ненавистью придавленного чинарика, этих дешевых сигарет чужбины, в чьем едком дыму ты ощущаешь не мир и покой, а только свой собственный страх.

Я становлюсь сентиментален до безобразия, подумал я. Смех да и только! Ради того ли примкнул я к бесчисленному племени Агасферов, чтобы мечтать лишь о жилом тепле и любимых домашних тапочках? О тоскливой затхлости привычного мирка с его безнадежной скукой, задрапированной мещанским благополучием?

Я решительно повернулся и пошел прочь от магазинов Пятой авеню. Я двинулся на запад, и, миновав аллею зазывал-мошенников и дешевых балаганов, углубился в кварталы, чьи обитатели молча сидят на ступеньках подъездов узкогрудых домов угрюмого бурого камня, где детишки похожи на полинялых бабочек, а силуэты взрослых, если верить шадящим вечерним сумеркам, понуры лишь от усталости,

а вовсе не от непосильной тяготы жизни.

Женщина, думал я, подходя к вывеске «Рубен». Просто женщина, какая-нибудь зверушка-хохотушка, самка блондинистой масти с игривым задом и без тени мысли в голове, кроме одной-единственной: достаточно ли у тебя денег на ее услуги, которые потребуется, конечно, сдобрить калифорнийским бургундским, а по мне, так еще и дешевым ромом; да, и чтобы ночь провести у нее, лишь бы не возвращаться к себе в номер – только не сегодня, только не нынешней ночью. Вот только где ее найти – эту женщину, эту девку, эту шлюху? Тут тебе не Париж, и я уже успел усвоить, сколь ревностно блюдет нравы нью-йоркская полиция, когда имеет дело с бедняками; нет, шлюхи тут не разгуливают по улицам, заявляя о себе опознавательными знаками – непомерной величины сумками и зонтиками; здесь все это устраивается по телефону, но это и дольше, и номера надо знать.

– Добрый вечер, Феликс, – поздоровался я. – А что, Меликова нет?

– Сегодня суббота, – ответил Феликс. – Моя смена.

И точно, суббота, час от часу не легче! Совсем забыл. Предстоящее воскресенье, пустое, нескончаемое, обдало меня всей своей неизбывной тоской. В номере у меня еще есть немного водки. Кажется, и пара таблеток снотворного осталась. Почему-то сразу вспомнился увалень Рауль. Не я ли еще вчера вечером над ним потешался. А теперь вот и самому приходится ничуть не легче.

– Мисс Петрова тоже только что про господина Меликова спрашивала, – как бы невзначай сообщил Феликс.

– Она уже ушла?

– Кажется, еще нет. Вроде бы собиралась подождать немного.

Едва я приблизился к плюшевому закутку, оттуда, из полумрака, Наташа Петрова сама появилась мне навстречу. Только бы опять не начала плакать, подумал я, в очередной раз удивившись, до чего же она высокая.

– Опять к фотографу? – спросил я.

Она кивнула.

– Хотела, вот, водки выпить, но Владимира Ивановича сегодня нет. У него выходной, а я совсем забыла.

– У меня есть водка, – чуть не выкрикнул я. – Могу принести.

– Не беспокойтесь. У фотографа этого добра сколько угодно. Я просто хотела немножко тут посидеть.

– Сейчас принесу бутылку. Минутку подождите.

Я взбежал по лестнице, распахнул дверь. Бутылка мерцала на подоконнике. Стараясь не глядеть по сторонам, я подошел, взял бутылку, прихватил две стопки. В дверях все-таки оглянулся. Ничего особенного – ни теней, ни призраков. Из темного угла белесым пятном брезжит кровать. Сам себе удивляясь, я только неодобрительно головой покачал и отправился вниз.

Вид у Наташи Петровой сегодня был совсем иной, чем

в прошлый раз. Не такой истеричный, напротив, почти по-американски уверенный. Правда, в чуть хрипловатом голосе слышался легкий акцент, но скорее французский, чем русский, насколько я могу судить. На голове у нее пышным сиреневым тюрбаном был повязан шелковый платок.

– Это из-за прически, – пояснила она. – Сегодня съемка вечерних платьев.

– И чем же вам нравится тут сидеть? – поинтересовался я.

– Я вообще люблю посидеть вот в таких гостиницах. Тут никогда не бывает скучно. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Люди приходят, уходят, здороваются, прощаются. Это же лучшие мгновения жизни.

– Вы так считаете?

– По крайней мере, не скучные. А все остальное... – Она пренебрежительно повела рукой. – Большие отели – те все какие-то безликие. Там люди ведут себя скованно, эмоции стараются припрятать. От этого в воздухе как будто напряжение, но ничего чрезвычайного толком никогда не увидишь.

– А здесь увидишь?

– Да, здесь все более открыто. Люди позволяют себе не сдерживаться. И я тоже. – Она усмехнулась. – Кроме того, мне так симпатичен Владимир Иванович. Он почти как русский.

– Да разве он не русский?

– Он чех. Хотя кем он только не был. Прежде деревня, откуда он родом, находилась в России, но с девятнадцатого

года она стала чешской. Потом немецкой, когда гитлеровцы туда вошли. Теперь, похоже, снова скоро станет русской – или чешской. А может, американской? – Она снова усмехнулась, вставая. – Мне пора. – И, на секунду замешкавшись, вдруг спросила: – А почему бы вам не пойти со мной? Или у вас что-то намечено?

– Ничего. А фотограф ваш меня не выставит?

– Ники? Вот еще новости! Там же всегда тьма народу. Одним больше, одним меньше, какая разница. И из русских тоже кое-кто будет. Обстановка, конечно, слегка богемная...

Смутно я догадывался, почему она меня приглашает. Хочет загладить впечатление от нашего первого знакомства. Особого желания отправляться с ней у меня, пожалуй, нет: что я там потерял и кому нужен? Но сегодняшним вечером я готов ухватиться за любую соломинку, лишь бы не оставаться одному у себя в номере. В отличие от Наташи Петровой, ничего чрезвычайного я испытать не желал. А уж нынешней ночью и подавно.

– Будем брать такси? – спросил я в дверях.

Наташа рассмеялась.

– В гостинице «Рубен» такси брать не принято. Это я еще помню. Нам тут недалеко. Да и вечер какой дивный! Ах, эти нью-йоркские ночи! Нет, что хотите, но я не рождена для сельской жизни. А вы?

– Вот уж чего не знаю, того не знаю.

– Неужели никогда даже не думали об этом?

– Никогда, – честно признался я. Да и где, когда мне было предаваться подобным праздным умствованиям? Тут только одному успеваешь порадоваться – что ты вообще еще жив.

– Что ж, тогда у вас еще кое-что впереди, – рассудила Наташа. Она шагала быстро, рассекая поток встречных прохожих, точно летящий по волнам бриг, а ее гордый профиль, увенчанный фиолетовым тюрбаном, напоминал резную фигуру на носу корабля, надменно и неколебимо устремленную вперед сквозь кипень брызг и грохот штормовых валов. Она шла таким стремительным и широким шагом, что казалось, юбка ей узка. И даже не думала семенить, не стеснялась дышать глубоко, полной грудью. Только тут мне пришло в голову, что здесь, в Америке, это мой первый выход с женщиной и сама эта мысль меня приятно волнует!

* * *

Ее все ждали и встретили радостно, как запропастившееся дитя, о котором уже начали беспокоиться. В огромном зале среди голых стен расхаживали какие-то люди, были расставлены ширмы и сияли софиты. Фотограф и двое ассистентов кинулись к ней с объятиями и поцелуями, среди радостных возгласов и обрывков разговоров был представлен и я. Всем предлагались водка, виски, сигареты, и в оживленной этой суете я, уже вскоре благополучно всеми забытый, устроился в сторонке в кресле.

Зато мне представилась возможность без помех наблюдать зрелище, какого я еще не видывал. Из огромных картонных коробок извлекались наряды, их уносили за ширму, распаковывали там и снова выносили. Уже вовсю разгорелись дебаты о том, что надо снимать в первую очередь. Кроме Наташи Петровой были здесь и еще две манекенщицы, блондинка и брюнетка, обе очень красивые в своих серебристых туфельках на высоченных каблуках.

– Сначала пальто, – решительно заявила некая весьма энергичная дама.

– Нет, сперва вечерние платья, – возражал фотограф, худощавый светловолосый щеголь с золотой цепочкой на запястье. – Иначе помнутся.

– С чего вдруг? Мы же их под пальто надевать не собираемся? А пальто первым делом возвращать надо. Особенно меха. Фирма уже ждет.

– Ну ладно! Тогда давайте вон ту шубку!

Немедленно вспыхнула новая дискуссия – как снимать. Я слушал внимательно, хотя и не особо вникая в смысл. Веселое возбуждение и горячность, с которой каждый отстаивал свою точку зрения, со стороны напоминали театральную постановку. С таким темпераментом можно было бы разыгрывать «Сон в летнюю ночь» или некую вещицу в стиле рококо, допустим, «Кавалера роз», а то и фарс Нестроя, – с той лишь разницей, что самым участникам все происходящее казалось невероятно важным. И чем больше они кипятились,

тем неправдоподобнее становилось само это зрелище, смахивая скорее на какой-то безумный, а вдобавок еще и крикливый балет. Казалось, еще секунда, и под звуки рога сюда вбежит Оберон. Тут вдруг лучи софитов пучком сошлись на белой ширме, к которой уже успели подтащить огромную вазу с искусственными люпинами. Сюда же на своих серебристых шпильках вышла и манекенщица в бежевой меховой накидке. Строгая директриса еще что-то подправляла и разглаживала, когда два софита, те, что ниже остальных, разом вспыхнули и красавица застыла, словно под дулом пистолета.

– Отлично! – в азарте воскликнул Ники. – Еще разок, дарлинг!

Я откинулся в кресле. Хорошо, что я согласился сюда пойти. Ничего лучше и придумать нельзя.

– Теперь Наташа! – распорядился кто-то. – Манто из каракульчи.

Она появилась внезапно, словно ниоткуда, стройная, ладная, в черном, переливчатом манто и чем-то вроде берета из того же дымчато-мерцающего меха.

– Шикарно! – похвалил Ники. – Так и стой!

Он шуганул директрису, которой опять понадобилось что-то поправить. – Это потом! Сейчас пока что без позы.

Боковые софиты вперились в миниатюрный овал ее лица. Глаза сверкнули электрической голубизной и засияли как звезды.

– Снимаю! – объявил Ники.

В отличие от двух других манекенщиц, Наташа и не подумала застывать в позе. Она просто продолжала спокойно стоять, как будто и раньше вообще не двигалась.

– Хорошо! – одобрил Ники. – Теперь распахни!

Наташа развела полы пальто, словно бабочка крылья. Манто, только что выглядевшее облегающим коконом, раскрылось чуть ли не веером, сверкнув элегантной белой подкладкой в крупную серую клетку.

– Так и стой! – воскликнул Ники. – Во всю ширь, во всю ширь распахни! Ну прямо ночной павлиний глаз! Вот так хорошо!

– И как вам все это? – раздался вдруг очень близко чей-то голос.

В кресле рядом сидел мужчина, бледный, черноволосый, со странным блеском темных, словно крупные вишни, глаз.

– Замечательно! – совершенно искренне ответил я.

– У нас, конечно, нет сейчас возможности показывать модели от Баленсиаги и великих французских кутюрье. Это, увы, одно из последствий войны, – добавил он с тихим вздохом. – Однако Майнбохер и Валентино тоже ведь смотрятся неплохо, верно?

– Безусловно, – поддакнул я, понятия не имея, о ком речь.

– Что ж, будем надеяться, все это скоро кончится и мы снова сможем получать первоклассные ткани. Ах, эти лионские шелка, – опять вздохнул незнакомец, уже вставая: его

кто-то позвал.

У этого человека своя причина проклинать войну, и здесь, в этом зале, она вовсе не показалась мне смехотворной – напротив, пожалуй, одной из самых резонных.

Тем временем началась съемка вечерних нарядов. И тут вдруг откуда ни возьмись передо мной очутилась Наташа Петрова. На ней было длинное, в пол, белое платье, туго облегающее всю фигуру, оставляя открытыми плечи.

– Ну что, очень сучаете? – спросила она.

– Ничуть, совсем напротив, – пробормотал я, слегка смешавшись и не сводя с нее глаз. – Кажется, у меня даже начинаются галлюцинации, причем весьма приятные. Вот эту диадему, к примеру, я, по-моему, всего пару часов назад видел в витрине «Ван Клиф и Арпельс». Ведь это же невозможно?

Наташа рассмеялась.

– Вам, однако, в наблюдательности не откажешь.

– Как? Неужели это та же самая?

– Да. Журнал, для которого мы делаем съемку, взял ее напрокат. Уж не думаете ли вы, что я ее купила?

– Бог его знает! В такую ночь, сдается мне, все возможно. Столько платьев и мехов сразу я в жизни не видел.

– И что же вам больше всего понравилось?

– Да многое. Но больше всего, пожалуй, накидка черного бархата, длинная, широкая, та, что вы показывали. Такая вполне могла бы быть и от Баленсиаги.

Она резко повернулась и стрельнула в меня глазами.

– Она и есть от Баленсиаги. Вы что, шпион?

– Шпион? Вот уж в чем меня еще никто не подозревал.

И на какую же страну я, по-вашему, должен работать?

– На конкурентов. На другой модельный дом. Вы тоже из модельного бизнеса? Откуда иначе вам знать, что накидка от Баленсиаги?

– Уважаемая Наташа Петрова, – заявил я как можно торжественнее. – Клянусь, что еще десять минут назад фамилии Баленсиага я знать не знал. А даже если б услышал, решил бы, что это марка автомобиля. Но только что вон тот господин, бледный такой, мне эту фамилию назвал. Упомянув при этом, что модели от Баленсиаги они больше не получают. Вот я и решил щегольнуть шутки ради.

– И попали в самую точку! Накидка в самом деле от Баленсиаги. Доставлена на бомбардировщике, их еще «летающая крепость» называют. Контрабандой.

– Какой замечательный способ использовать бомбардировщики. Если он войдет в обыкновение, можно считать, для человечества наступит золотой век.

– Вы, значит, никакой не шпион. Вообще-то жаль. Но за вами глаз да глаз нужен. Быстро соображаете. Выпивки вам хватает?

– Вполне, благодарю.

Ее уже звали.

– После мы все на часок кое-куда сходим. В «Эль Марок-

ко». Так уж у нас заведено. Вы пойдете? – бросила она, уже уходя.

Я не успел ей ответить. Разумеется, не могу я с ней пойти. У меня на это денег нет. Придется так ей и сказать. Неприятно, конечно. Но хорошо, хоть не сейчас. А пока что я дал всему идти своим ходом. О том, что будет через час, а тем более завтра, думать совсем не хотелось. Манекенщица-брюнетка, когда ее закончили снимать в длинном, цвета морской волны пальто, одним движением его с себя скинула, чтобы надеть следующую вещь. Как оказалось, под пальто, кроме весьма скудного нижнего бельяшка, на ней ничего нет. Но никто и бровью не повел. Очевидно, здесь такое в порядке вещей. Не говоря уж о том, что некоторые из мужчин явно женским полом не интересуются. Черноволосая была на диво хороша, в ней чувствовалась неспешная, самоуверенная грация красавицы, которая привыкла к победам и не слишком дорожит ими. Видел я и Наташу Петрову, когда та меняла наряды. Высокая, гибкая, она тоже ничуть не стеснялась своей наготы, в мерцании которой было что-то перламутрово-лунное. Она, впрочем, все-таки не совсем в моем вкусе, в отличие от брюнетки, которую звали Соней. Впрочем, все это довольно смутно проплывало в моем сознании, да я и не хотел сейчас ни четкости сравнений, ни ясности желаний. Я просто был безмерно рад, что избавлен от одиночества у себя в номере. Одно лишь немного странно: этих женщин, которых я едва знаю, мне дозволено наблюдать в таких

видах, будто мы чуть ли не близки или когда-то были близки. Это было завораживающее зрелище, интимное и в то же время почти нереальное – словно многоцветный узор на однотонном, но теплом и как бы мерцающем фоне.

Только когда наряды были снова уложены в картонные коробки, я сказал Наташе Петровой, что в «Эль Марокко» с ней пойти не смогу. (Мне уже доводилось слышать, что это один из самых дорогих ночных клубов Нью-Йорка.)

– Это почему же? – поинтересовалась она.

– Я сегодня не при деньгах.

– Какой же вы дурачок! Мы все приглашены! Неужели вы думаете, я бы позволила вам платить?

Она рассмеялась своим чуть надтреснутым, сипловатым смехом. И хотя гортанный этот смешок слегка отдавал повадками жиголо, я друг ощутил приятный азарт: меня словно приняли в компанию сообщников.

– А драгоценности – разве вам не надо их сдать?

– Завтра. Это уж забота журнала. А наше дело сейчас – шампанское пить.

Я больше не пытался протестовать. Этот день вопреки ожиданиям закончился для меня переменчивой игрой настроений – от всевозможных оттенков иронии до неподдельной благодарности. Так что когда уже под конец гулянки в одном из кабинетов «Эль Марокко» мы слушали немецкие песни в исполнении некоего венского кабареиста, я уже ничему не удивлялся, хотя Америка, как известно, с Германи-

ей воюет. Одно я знал точно: в Германии нечто подобное совершенно исключено. Здесь же за столиками даже оказалось довольно много офицеров. Было такое чувство, будто после долгих блужданий по пустыне я очутился в оазисе. И хотя время от времени я украдкой пересчитывал в кармане все свое состояние – жалкие пятьдесят долларов – и был готов, если потребуется, немедля выложить их за такой вечер, однако никто и не думал ничего от меня требовать. Вот же он, долгожданный мир, размышлял я, мир, который мне, увы, неведом, и та беззаботность, которой мне так и не суждено насладиться, – но я думал об этом без тени зависти. Достаточно знать, что такое еще существует на свете. Я сижу среди незнакомых людей, которые мне сейчас ближе и приятнее многих из тех, кого я знаю куда лучше, сижу рядом с красивой женщиной, в волосах которой посверкивает в отблесках свечей взятая напрокат диадема, сижу рядом с ней, жалкий прихлебатель перед бокалом выставленного кем-то шампанского, – и почему-то мне кажется, будто на этот вечер и мне самому выдана взаймы совсем другая жизнь, которую, правда, завтра, хочешь не хочешь, придется возвращать.

VII

– Вообще-то вас вполне можно пристроить в какую-нибудь частную галерею, – рассуждал Леви-старший. – В этом смысле война вам очень даже на руку. Толковые работники сейчас всюду нужны.

– Сдается мне, на барышах от этой войны я уже чуть ли не воротилой становлюсь, – буркнул я. – Только и слышу, сколько мне от войны выгод.

– А разве нет? – Леви почесал лысую макушку мечом литого Михаила Архангела – подделки, разумеется. – Если бы не война, вы бы не оказались здесь.

– Ваша правда. Как и то, что, если бы не война, немцы не оказались бы во Франции.

– Но разве вам здесь не лучше, чем во Франции?

– Господин Леви, это все праздные вопросы. Что во Франции, что здесь я чувствую себя паразитом на теле общества.

Лицо Леви внезапно озарилось какой-то мыслью.

– Паразит, вот именно! Как раз об этом я и хотел с вами потолковать. При вашем нынешнем статусе вас нигде официально на работу не примут. Вам нужно подыскать примерно то же, что и здесь. Иными словами, нелегальный заработок. По-черному. Я тут переговорил кое с кем, у кого такая работенка, может, для вас и найдется. Вот он паразит. Но паразит богатый. Тоже торгует искусством. Живописью. И при

этом паразит, самый настоящий!

– Он что, торгует подделками?

– Боже упаси! – Отставив в сторонку поддельного архангела, Леви уселся на изрядно подлатанный складной стул «са-вонарола», верхняя часть которого даже была подлинной. – Торговля искусством – это ремесло нечистой совести, – наставительно изрек он. – Ты зарабатываешь то, что по сути принадлежит художнику. И выручаешь от продажи во много раз больше, чем получил художник, когда сам впервые продавал свое произведение. С антиквариатом, с предметами искусства все это еще не так скверно. По-настоящему худо дело обстоит именно с живописью в чистом виде. Взять хотя бы Ван Гога. Он же ни одной своей картины сам продать не смог и жил впроголодь, а сегодня торговцы на его картинах миллионы зарабатывают. И так было всегда. Художник голодает – торговец картинами роскошествует в замках.

– Полагаете, торговцы льют слезы от угрызений совести? Леви подмигнул.

– Разве что в качестве приправы к жирным барышам. Они вообще странный народ – эти торговцы искусством. Только обогатиться за счет художника им мало – зачастую им охота вдобавок почувствовать себя с художником наравне, встать с ним на одну доску, а то и повыше, – и все лишь потому, что художник, продающий свое творение, чаще всего гол как сокол и не знает, на что бы сегодня поужинать. Превосходство человека, имеющего деньги, чтобы ему этот ужин оплатить,

вам, полагаю, понятно?

– Очень даже. Хотя я и не художник. Но по этой части все равно, считайте, эксперт.

– О чем и речь. На художнике всегда наживаются. Но торговцы искусством ради создания видимости своей любви к искусству, за счет которого они жируют, а заодно и любви к художнику, которого облапошивают, – ради создания этой видимости они держат частные галереи. Проще говоря, время от времени устраивают выставки. Устраивают, разумеется, главным образом для того, чтобы зашибить на художнике, которого они предварительно связали договором, побольше денег, но и ради того, чтобы обеспечить тому дополнительную известность. Это, так сказать, их весьма жиденькое алиби: мы тоже, мол, кое-что делаем для искусства.

– Вот они-то, значит, и есть паразиты от искусства? – спросил я, потешаясь в глубине души.

– А вот и нет! – торжествующе заявил Леви, раскуривая сигару. – Эти хотя бы что-то предпринимают ради искусства. Настоящие паразиты – это спекулянты, которые приторговывают живописью, не заводя ни салона, ни галереи. Они нагло пользуются интересом, который своими выставками пробудили другие, сами же никаких затрат не несут. И торгуют у себя на дому. Все их расходы – разве что на секретаршу. Даже плату за квартиру они из налогов списывают по графе деловых расходов, потому что в этой квартире, видите ли, у них картины висят. И все семейство в этой квартире при-

певаючи живет задаром. Покуда наш брат гнет спину у конторки, тратит деньги и нервы на бестолковый персонал, такой вот паразит преспокойно может дрыхнуть до девяти, потом продикует секретарше пару писем и, как паук в паутине, ждет очередного покупателя.

– А вы разве покупателя не ждете?

– Не с таким комфортом, не как паук в паутине! Как наемный работник, хоть и работающий на самого себя. Но не как такой вот пират!

– Так почему бы вам самому не стать таким паразитом, господин Леви?

Леви глянул на меня исподлобья, сразу заметно помрачнев.

Я понял, что допустил промашку.

– Наверно, порядочность не позволяет? – подсказал я, пытаясь спасти положение.

– Хуже. По финансовым соображениям. Такое пиратское житье-бытье можно себе позволить, только когда у тебя денег много. И товар хороший. Иначе это мартышкин труд. Товар нужен первостатейный.

– Выходит, у такого пирата можно купить дешевле? Ведь у него расходов меньше.

Леви пригасил сигару, ткнув ее в ступку эпохи Ренессанса, но тут же вытащил, разгладил и раскурил снова.

– Дороже! – крикнул он. – В том-то и весь фокус! А невежи толстосумы позволяют водить себя за нос, да еще дума-

ют, будто покупают дешевле! Отдают свои кровно заработанные миллионы, попадаясь на такую вот дешевую приманку. Только затронь струнки их тщеславия, пощекочи слегка их самолюбие, и они, увы, падки на этот соблазн, как мухи на мед! – Сигара Леви стреляла искрами не хуже фейерверка. – Продать – это прежде всего умело подать! – поучал он, распаляясь все больше. – Предложите такому вот новоиспеченному миллионеру, ничего не объясняя, купить Ренуара, и он поднимет вас на смех, решив, что это марка велосипеда. Но втолкуйте ему, что приобретение Ренуара прибавит ему веса в обществе, и он мигом купит сразу двух! Понимаете?

Я слушал его, как замороженный. Время от времени Леви давал мне такие вот бесплатные уроки практической жизни, обычно уже после обеда, когда дел поменьше, а то и ближе к вечеру, под конец моей подвальной смены. Сегодня он спустился ко мне около трех.

– Вы хоть знаете, с какой стати я посвящаю вас в эти премудрости торговли шедеврами живописи? – спросил он.

– Чтобы подготовить меня к войне в деловом мире. С обычной-то войной я успел познакомиться.

– Ну да, вы понюхали пороха первой в истории по-настоящему всемирной войны и полагаете, будто это бог весть какая новость. А я вам скажу, что в деловой жизни от начала времен ничего другого, кроме всемирной войны, не было и нет. Тут вечный бой, всегда и повсюду. – Леви-старший вдруг как-то весь подобрался. – Как и в браке, – добавил он.

– Вы женаты? – спросил я. Не люблю, когда войну поминуют почему зря, притягивая порой для самых пошлых сравнений. Слишком она, на мой взгляд, не поддается никаким сравнениям, даже не пошлым.

– Я – нет! – заявил Леви-старший с неожиданной резкостью, внезапно помрачнев. – Зато мой братец! Он, видите ли, жениться надумал. Представляете? Это же трагедия! Жениться на шиксе. Это конец всему!

– Шикса – это кто?

– Не иудейка. Христианка... Глаза, как у селедки, космы вытравлены перекисью, а пасть всеми сорока восемью зубами уже разинута на наши кровью и потом заработанные гроши. Ну, не совсем гроши, доллары. Короче, просто гиена в обличье крашеной блондинки, обе ноги правые, и обе кривые.

Я на секунду опешил, пытаясь вообразить себе эту картину.

– Бедная моя мама, – продолжал Леви, – доживи она до такого, она бы в гробу перевернулась, хорошо хоть ее восемь лет назад сожгли.

В этом рассуждении я уже не пытался связать концы с концами. Все затмило одно лишь слово – оно грянуло, как удар колокола.

– Сожгли?

– Ну да, в крематории. Хотя она-то правоверная иудейка была. Еще в Польше родилась. А умерла здесь. Вы же знае-

те...

– Знаю, – поспешил перебить я. – Ну, а ваш брат? Почему бы ему не жениться?

– Но не на шиксе же! – вскричал Леви. – В Нью-Йорке полным-полно порядочных еврейских девушек! Уж чтобы здесь-то и не найти? Да здесь в иных районах они толпами ходят, бери не хочу! Так нет же, вбил себе в голову! Это все равно, что в Иерусалиме какую-нибудь Брунхильду в невесты отыскать!

Эту гневную тираду я уже предпочел выслушать молча. И поостерегся намекнуть Леви, что это практически тот же антисемитизм, только наизнанку. На сей счет он не потерпел бы ни шуток, ни иронических сравнений, как, впрочем, и я насчет войны.

Мало-помалу он успокоился.

– Вы уж извините, – пробормотал он смущенно. – Иной раз так припечет, вот и раскипятишься. Но мы же с вами о другом говорили. О паразитах. Так вот, у меня вчера с одним таким паразитом разговор был – как раз о вас. Ему мог бы пригодиться помощник, знающий толк в живописи. Не ушлый знаток, который разведает все его секреты, чтобы потом продать их конкурентам. А человек вроде вас, который вынужден жить скрытно и, значит, лишнего болтать не будет. Вам надо сходить к нему, представиться. Сегодня вечером, к шести. Я уже ответил за вас согласием. Вы не против?

– Большое спасибо, – ошеломленно проговорил я. – Нет,

правда, большое спасибо!

– Заработок у вас будет не очень большой. Но, как говаривал мой папа, лиха беда начало. А здесь, – Леви небрежно обвел рукой стеллажи, – здесь вам начинать уже нечего.

– Я вам очень признателен за работу здесь и вообще за все это время у вас. И за то, что вы и дальше мне помогли. Почему, собственно?

– Вот об этом лучше никогда не спрашивайте. – Леви взглянул на меня как-то особенно пристально. – М-да, почему? Мы ведь вообще-то вовсе не такие уж альтруисты. Знаете, почему? Наверно, потому, что в вас чувствуешь какую-то трогательную беспомощность.

– Что? – переспросил я, изумленный до крайности.

– Да, наверно, в этом все дело, – подтвердил Леви, похоже, сам удивляясь. – Хотя вид у вас вовсе не такой. Но почему-то это в вас чувствуется. Мой брат первым это подметил, когда мы как-то о вас заговорили. Поэтому, считает он, вам всегда будет везти с женщинами.

– Вот как? – буркнул я, не зная толком, сердиться мне или смеяться.

– Не принимайте слишком всерьез. Я же вам объяснил: в подобных вопросах мой твердолобый братец разбирается не лучше носорога. Сходите лучше к пирату. Сильверс его фамилия. Нынче вечером.

На двери у Сильверса не было никакой таблички. Он жил в обычном доходном доме. Я ожидал встречи с прожженным дельцом, этакой двуногой акулой. Вместо этого передо мной стоял тихий, тщедушный и скорее робкий господин, превосходно одетый и крайне сдержанный. Он предложил мне виски с содовой и принялся осторожно расспрашивать. Немного погодя вынес из соседней комнаты две работы и поставил на мольберт.

– Какая вещь вам больше нравится?

Я указал на правую.

– Почему? – спросил Сильверс.

– Разве это обязательно объяснять?

– Меня это интересует. Вы знаете, чьи это вещи?

– Это два рисунка Дега. Но это же вам всякий скажет.

– Не всякий, – возразил Сильверс со странной, какой-то застенчивой усмешкой. – Некоторые из моих клиентов не скажут.

– Зачем же они тогда покупают?

– Чтобы у них дома висел Дега, – меланхолично проронил Сильверс.

Я вспомнил давешнюю лекцию Леви-старшего. Похоже, он говорил правду. Я-то привык верить его рассказам лишь отчасти, ведь он склонен преувеличивать, особенно когда

пускался в рассуждения о посторонних, не слишком известных ему вопросах.

– Картины – это те же эмигранты вроде вас, – сказал Сильверс. – Судьба забрасывает их в самые неожиданные места. А хорошо ли им там живется, это уже другой вопрос.

Теперь он вынес из той же комнаты две акварели.

– Что вы скажете об этом?

– Это акварели Сезанна.

Сильверс был поражен.

– И тоже можете сказать, какая лучше?

– У Сезанна все акварели хороши, – сказал я. – Подороже, думаю, будет левая.

– Почему? Потому что больше?

– Не поэтому. Эта поздняя вещь, и уже почти в кубистической манере. Прекрасный прованский пейзаж с горой Сан-Виктуар. В брюссельском музее есть похожая.

Сильверс переменился в лице. Он встал.

– Где вы работали раньше? – резко спросил он.

Мне вспомнился допрос, который учинила мне Наташа Петрова.

– Нигде я не работал, – спокойно ответил я. – Ни на кого из конкурентов, и я не шпион. Просто какое-то время провел в Брюсселе в тамошнем музее.

– Когда?

– Когда Брюссель был под немцами. Меня в этом музее прятали. Потом удалось бежать, нелегально перейти грани-

цу. Вот и весь секрет моих скромных познаний.

Сильверс снова сел.

– В нашем деле всего приходится опасаться, – пробормотал он.

– Это отчего же? – поинтересовался я, радуясь возможности хотя бы на время избежать дальнейших расспросов.

Сильверс на секунду замялся.

– Понимаете, картины – они как живые существа. Как женщины. Не следует показывать их всем и каждому, если вам дорого их очарование. И их ценность.

– Но они же для того и создаются, чтобы их показывать, разве нет?

– Может быть, хотя не убежден. Продавцу, во всяком случае, выгоднее, чтобы его картины не были широко известны.

– Странно. Я-то думал, это повышает цену.

– Отнюдь не всегда. Если картину слишком часто показывали, она примелькалась, или, на жаргоне рынка говоря, «спалилась». В отличие от картин-«девственниц», которые укромно таились в частной коллекции, не меняя владельцев. Такие картины, которых вообще почти никто видел, и ценятся дороже. И не потому, что они лучше, – просто к их покупке прилагается радость первооткрывателя и истинного знатока.

– И за это люди готовы приплачивать?

Сильверс кивнул.

– В наше время коллекционеров, к сожалению, раз в де-

сять больше, чем знатоков. Время истинных коллекционеров-знатоков кончилось вместе с первой мировой войной, году примерно в восемнадцатом. Всякий политический и экономический переворот влечет за собой и финансовые потрясения. Крупные состояния переходят из рук в руки. Кто-то разоряется, кто-то богатеет. Частные собрания меняют собственников, разорившиеся вынуждены продавать, а новые, хотя и при деньгах, зачастую никакие не знатоки. А чтобы знатоком стать, на это требуется время, терпение... и любовь.

Я заслушался. В этой комнате, обитой серым бархатом, с двумя мольбертами посередине, казалось, навсегда застыл покой давно ушедших мирных времен. Сильверс между тем поставил на мольберт новую работу.

– А это вы знаете?

– Моне. «Поле маков».

– Вам нравится?

– Это великолепно. Сколько покоя! Сколько солнца! Солнце Франции...

– Что ж, мы можем попробовать, – решил он наконец. – Особых познаний от вас не потребуется. Куда важнее исполнительность и конфиденциальность. Как насчет шести долларов в день?

Я ожил мгновенно.

– За сколько часов? Утром или вечером?

– Утром и вечером. Но днем у вас будет много свободного

времени.

– Это примерно столько же, сколько зарабатывает хороший рассыльный.

В ответ я ожидал услышать, что именно такая работа мне и предлагается. Но Сильверс поступил элегантнее: он просто произвел при мне подсчеты, сколько зарабатывает хороший рассыльный. Получилось, что меньше.

– Меньше десяти долларов никак не могу, – не уступал я. – У меня долги, я их выплачиваю.

– Уже долги?

– Адвокату, который занимается моим видом на жительство.

Я знал: Леви успел рассказать об этом Сильверсу; тот, однако, сделал вид, будто это все меняет и он теперь подумает, стоит ли вообще меня брать. Хищник наконец-то показал зубы.

В итоге мы сошлись на восьми долларах. Это после того, как Сильверс с прежней своей застенчивой улыбочкой объяснил мне, что, поскольку работать я намерен нелегально, значит, и налогов платить не буду. К тому же и английский мой не безупречен. Но тут-то я его и подловил. Зато я говорю по-французски, козырнул я, а в его бизнесе это плюс, причем немалый. Только тогда он сдался, согласившись на восемь долларов и даже пообещав, если я хорошо себя зарекомендую, к вопросу оплаты еще вернуться.

Придя в гостиницу, я застал там весьма причудливую картину. В старомодном холле было куда светлее, чем обычно. Горели даже те лампы, которые прижимистая дирекция неизменно отключала. За столом посреди холла собралось разношерстное и довольно живописное общество. Верховодил всем Рауль. В парадном, необъятного покроя бежевом костюме он, словно гигантская потная жаба, восседал в торце стола, накрытого, к моему изумлению, белой скатертью, а вокруг, обслуживая гостей, даже расхаживал официант. Рядом с Раулем сидел Меликов; далее обнаружились Лахман с пуэрториканкой, мексиканец в розовом галстуке с каменным лицом и неистовым взглядом, некий весьма белобрысый хлипкий юноша, обладатель, как выяснилось, рокошущего баса, хотя предположить можно было разве что высокое сопрано; кроме того, две жгучие брюнетки неопределенного возраста – от тридцати до сорока – и испанского обличья, оживленные, бойкие и даже привлекательные. И, по другую руку от Меликова, Наташа Петрова.

– Господин Росс! – вскричал Рауль. – Окажите нам честь!

– Что происходит? – поинтересовался я. – Совместный день рождения? Или, может, кто-то сорвал куш в лотерею?

– Присоединяйтесь к нам, господин Росс, – пригласил Рауль, уже с трудом ворочая языком. – Это один из моих спа-

сителей, – пояснил он басовитому блондину. – Пожмите друг другу руки! Это Джон Болтон.

В первый миг мне показалось, что в ладонь мне сунули дохлую рыбину. От обладателя столь впечатляющего баса я ожидал рукопожатия покрепче.

– Что будете пить? – вопрошал Рауль. – У нас тут все, что душе угодно: кока-кола, сэвен-ап, ольборг, бурбон, скотч, а по мне, так даже и шампанское. Как это вы сказали в тот раз, когда сердце мое кровоточило от горя? Все течет, так вы сказали. Это ведь кто-то из древних греков, верно? То ли Гераклит, то ли Демокрит, то ли Демократ. Или, как говорят на Седьмой авеню, «жизнь еврея бьет ключом, был красавчик – стал хрычом». Вот это верно. Но на смену приходит новая, юная поросль. Так что вы будете пить? Альфонс! – величественным взмахом руки, которому позавидовал бы и римский император, он подозвал официанта.

– Что пьете вы? – спросил я у Наташи Петровой.

– Водку, что же еще? – радостно ответила та.

– Мне водки, – сказал я Альфонсу.

– Сразу двойную! – распорядился Рауль, соловья на глазах.

– Это что, новая любовь, новое чудо человеческого сердца? – спросил я у Меликова.

– Чудо самообмана человеческого, когда каждый думает, будто предмет воздыхания пленен им безраздельно.

– «Le coup de foudre»⁷, – добавила Наташа Петрова. – Только без взаимности!

– Вы-то как тут оказались?

– Это все случай, – она рассмеялась. – Но до чего счастливый! Просто захотелось убежать от тоски и скуки очередного приема в «Корона-клуб». Но такого я здесь никак не ожидала!

– А потом у вас снова съемка?

– Сегодня нет. Почему вы спрашиваете? Опять пошли бы со мной?

Я хотел было ответить уклончиво, но вместо этого вдруг сказал:

– Да.

– Наконец-то хоть что-то внятное, – усмехнулась Наташа. – Тогда выпьем!

– Выпьем!

– Выпьем! Все! До дна! – подхватил Рауль и потянулся со всеми чокаться. Он даже попытался ради этого встать, но его повело, и он плюхнулся обратно на резное кресло, жалкое подобие трона, которое под ним угрожающе затрещало. В придачу ко всем остальным своим прелестям обветшавшая гостиница была обставлена еще и чудовищной мебелью в неоготическом стиле.

Пока все чокались, ко мне подошел Лахман.

– Сегодня вечером, – жарко прошептал он мне, – я подпою

⁷ «Любовь с первого взгляда» (*фр.*).

мексиканца.

– А сам-то не захмелеешь?

– Я уже подмазал Альфонса. Он будет наливать мне только воду. А мексиканец пусть думает, будто мы текилу пьем. Она ведь такого же цвета, как вода. Вернее, тоже бесцветная.

– На твоём месте я бы уж не его, а её подпаивал, – рассудил я. – Он-то ведь ничего против не имеет. Это она артачится.

На мгновение Лахман озадаченно потупился.

– Ерунда! – Он строптиво тряхнул головой. – Все получится! Должно получиться! Должно, и все тут, понимаешь!

– Пей лучше с обоими, и сам тоже напейся. Может, ты спьяну что-нибудь такое учудишь, до чего трезвым в жизни бы не додумался. Некоторые под хмельком вообще неотразимы.

– А толку что? Я ведь тогда ничего вспомнить не смогу. И получится, будто ничего не было.

– Лучше бы, конечно, наоборот. Лучше бы тебе уже сейчас вообразить, будто все было, а ты просто ничего не помнишь.

– Брось, это был бы самообман, все равно что жульничество, – горячо возразил Лахман. – Надо играть по-честному!

– А фокус с текилой – это по-честному?

– С самим собой я честен. – Лахман склонился к моему уху, обдав меня своим жарким, влажным дыханием, хотя ведь ничего, кроме воды, весь вечер не пил. – Я тут разузнал кое-что: оказывается, нога у Инес не ампутирована, а просто

не гнется. Так что эта хромовая накладка никакой не протез, а всего лишь муляж, для форса, – пусть, мол, лучше думают, что ноги вовсе нет.

– Лахман, кончай!

– Мне точно известно! Ты женщин не знаешь! Может, она потому и артачится? Не хочет, чтобы я увидел...

На секунду я просто онемел. Вот она, любовь, amore, amour, вот она, молния самообмана, надежда из самых глубин безнадеги, привет тебе, о, неунывающее чудо черной и белой магии! Я торжественно поклонился.

– Дружище Лахман, рад приветствовать в твоём лице звездные грезы любви!

– Вечно ты с твоими насмешками! Мне вот совсем не до шуток!

Рауль меж тем снова встрепенулся.

– Господа, – начал он, обливаясь потом. – Да здравствует жизнь! Я имею в виду, как хорошо, что мы все еще живы. Как вспомню, что совсем недавно намеревался этой жизни себя лишиться, готов сам себя по щекам отхлестать. Какими же мы бываем идиотами, когда мним себя воплощением утонченности и благородства.

И тут вдруг пуэртиориканка запела. По-испански, какую-то неизвестную песню, из Мексики, наверно. Голос у нее был удивительный, низкий и сильный, и пела она, не сводя глаз с мексиканца. Это была не песня даже, а зов, исполненный столь неодолимого и столь же естественного влечения,

что казался почти жалобой, порывом уже по ту сторону всякой мысли и всякой цивилизации, отголоском незапамятных времен, когда самого драгоценного своего отличия, юмора, человечество еще не обрело, – порывом неистовым и бесстыдным, но еще невинным в своем бесстыдстве. Ни один мускул не дрогнул на лице мексиканца. Да и женщина как будто окаменела – живыми оставались только ее губы и взгляд. Эти двое смотрели друг на друга, не мигая, не отрывая глаз, а песня все лилась, все длилась, не помня себя и не ведая конца. То было любовное соитие без соприкосновений, и каждый это видел, каждый понимал. Я обвел глазами их всех, я смотрел, как они замерли, слушая эту величаво струящуюся песню: Рауль и Джон, Меликов, Наташа Петрова и все остальные – все они замерли, разом посерьезнев, углубившись в себя и возвысившись над собой благодаря этой женщине, которая, все на свете позабыв, видела сейчас только своего мексиканца, бог весть какие глубины жизни обретая в его помятой сутенерской физиономии, – и почему-то это было ничуть не странно и нисколько не смешно.

VIII

До поступления на новое место оставалось три дня, и я устроил себе отпуск. Отдых я начал с прогулки по Третьей авеню в самый любимый свой предвечерний час, когда в антикварных лавках тени сгущаются до синевы, время словно замирает, зато оживают зеркала. Из ресторанов уже пахнет жареным луком и картофелем фри, официанты накрывают столы к ужину, а омары, выложенные на пыточном ледяном крошеве в огромных витринах «Океанского царства», тщетно пытаются куда-то уползти, загребая своими огромными клешнями, обезвреженными деревянными колышками. Я никогда не мог без содрогания смотреть, как изгибаются в муке их округлые панцирные спинки, они напоминают мне о пыточных камерах в концлагерях страны поэтов и мыслителей.

– Верховный имперский лесничий Герман Геринг никогда бы такого не допустил, – заметил Кан, тоже подходя к витрине ракообразных гигантов.

– Вы про омаров? Крабы-то, вон, все уже четвертованы. Кан кивнул.

– Третий рейх славится своей любовью к животным. Овчарку фюрера по кличке Блонди сам вождь холит и лелеет лично, как любимое дитя. А наш Герман, верховный лесничий Германии, премьер-министр Пруссии, главный херуск

и кто он там еще, на пару с главной блондинкой страны Эмми Зоннеман держит у себя в Валгалле молодого льва и обожает благостно позировать рядом с ним в облачении древнего германца, с охотничьим рогом на поясе. Ну а начальник всех концлагерей Генрих Гиммлер питает нежную любовь к ангорским кроликам.

– А четвертованные крабы вполне способны вдохновить министра внутренних дел Фрика на очередную новацию. Он же у нас такой культурный, доктор наук к тому же, и уже упразднил гильотину как слишком гуманное орудие казни, заменив ее ручным топором. Теперь, может, велит всех евреев четвертовать, как вот этих крабов.

– Такой уж мы народ, – с горечью бросил Кан, – даром, что ли, наше главное свойство характеризуется непереводаемым и якобы исконным словечком «духовность».

– Есть и еще одно исконно тевтонское слово, не встречающееся, сколько мне известно, ни в одном другом языке, – «злорадство».

– Может, хватит уже? – предложил Кан. – Что-то этот юморок стал меня утомлять.

Мы переглянулись как нашкодившие, застигнутые врасплох школяры.

– До чего же тяжело от этого избавиться, – пробормотал Кан.

– Это только с нами так?

– Да со всеми. Не успеешь привыкнуть к чувству без-

опасности, насладиться счастьем страуса, засунувшего голову в песок, как возвращается страх. И он тем сильнее, чем больше ты вначале радовался. Малость полегче приходится тем, кто, как муравьи после грозы, сразу лихорадочно принимаются строить – муравейник ли, гнездо, собственное дело, семью, будущее. Но тем, кто ждет чего-то, – тем не позавидуешь.

– Вы тоже ждете?

Кан глянул на меня с усмешкой.

– А вы, Росс, разве нет?

– Пожалуй, – помолчав, согласился я.

– Вот и я тоже. Чего, собственно?

– Я-то знаю чего.

– Каждый чего-то своего ждет. Только боюсь, когда все кончится, ожидания эти вмиг испарятся, как брызги на раскаленной плите. И мы опять сколько-то лет потеряем зря, и придется все начинать заново. А другие нас на эти несколько лет обгонят.

– Велика важность, – удивился я. – Можно подумать, жизнь – это бег с препятствиями.

– А разве нет? – спросил Кан.

– Дело совсем не в конкуренции. Разве большинство не мечтает вернуться?

– По-моему, точно этого никто не знает. Некоторым просто деваться некуда. Актеры, к примеру: у них здесь нет будущего, им никогда не освоить английский как родной. Писа-

тели, оставшиеся без читателей. Но большинству-то вообще непонятно чего надо. Их просто снедает неодолимая, идиотская тоска по родине. Вопреки всему! Смотреть тошно! Знаете, кто был в Германии самыми яркими патриотами? Евреи. Они любили эту страну с какой-то неистовой, собачьей привязанностью.

Я промолчал. Подумалось, что евреи потому, должно быть, любили эту страну столь пылкой любовью, что никогда не чувствовали себя здесь по-настоящему дома, до конца своими. И от этой неуверенности их любовь только пуще разпалялась снова и снова. При кайзере евреи даже были под защитой, но потом это кончилось. Хотя до тридцать третьего года особого антисемитизма все-таки не было, им страдали только совсем уж мерзкие, отпетые психопаты.

– Насчет любви к Германии: да, мне приходилось такое наблюдать, – сказал я. – В Швейцарии. Был там один еврей, коммерции советник, я надеялся, он мне денег подбросит. Не тут-то было. Вместо этого он дал мне совет: возвращайтесь в Германию. Газеты, дескать, все врут. А даже если в чем-то и не врут, то это временные, по необходимости суровые меры. Лес рубят – щепки летят. К тому же евреи во многом сами виноваты. Когда я ему сообщил, что сам лично тянул срок в концлагере, он в ответ заявил: значит, было за что. А тот факт, что меня выпустили, только лишнее доказательство справедливости немцев.

– Почему, кстати, вас отпустили? – перебил меня Кан.

– Потому что я не еврей, – сказал я и тут же разозлился на себя, пожалев о сказанном. – На этого коммерции советчика я наорал. А он в ответ наорал на меня: я, мол, антисемит.

– Знаю таких субъектов, – мрачно проговорил Кан. – Не часто, правда, но встречаются.

– Даже в Америке, – буркнул я, припомнив своего адвоката. – Ку-ку, – вдруг вырвалось у меня.

Кан рассмеялся.

– Вот уж кто действительно ку-ку! – подхватил он. – Ладно, пошли они к черту, все идиоты на свете!

– Включая тех, кто в наших рядах.

– Этих в первую очередь. И все-таки, несмотря ни на что, не угоститься ли нам по такому случаю порцией крабов?

Я кивнул.

– Позвольте мне вас пригласить. До чего же духоподъемное чувство – снова иметь такую возможность. Хотя на время избавляет от комплекса вечного попрошайки. Или, если угодно, этакого интеллигентного прихлебателя.

– Против внушенного нам дражайшей отчизной комплекса вины – вины за то, что мы еще живы, – любые средства хороши. С удовольствием принимаю ваше приглашение. Но в ответ позвольте и мне отрешиться бутылочкой нью-йоркского рислинга – так мы оба хотя бы на время снова почувствуем себя полноценными людьми.

– Разве здесь, в Америке, мы чем-то хуже других? Не такие, как все?

– Почти, но не совсем. На девять десятых.

Кан извлек из кармана некую розовую бумаженцию.

– Паспорт! – благоговейно ахнул я.

– Удостоверение иностранного гражданина враждебного государства, – сухо пояснил Кан. – Вот кто мы такие.

– Значит, и здесь люди второго сорта, – вздохнул я, раскрывая необъятную карту меню. – Неужели это теперь навсегда?

* * *

Вечером мы пошли к Бетти Штайн. Она и здесь сохранила свой берлинский обычай: по четвергам устраивала у себя салон. Прийти мог кто угодно. Кому средства позволяли, приносил что-нибудь с собой: бутылочку вина, пачку сигарет, баночку консервов. К услугам гостей был граммофон со старыми пластинками: Рихард Таубер, арии из оперетт Кальмана, Легара, Вальтера Колло. Иногда кто-то из поэтов читал стихи, в основном же просто беседовали, обсуждали, спорили.

– Побуждения у нее самые благие, – рассуждал Кан. – Но все равно это морг, мертвечина – сборище людей, которые давно отжили свое, только не догадываются об этом.

На Бетти было старое шелковое платье еще догитлеровских времен. Мало того, что оно шуршало, колыхалось рюшами, благоухало нафталином, – вдобавок ко всему оно еще

было фиолетовым. Пунцовые щечки Бетти, ее седые локоны и лихорадочный блеск темных глаз никак не вязались с таким помпезным нарядом. Она встретила нас, простирая для объятий свои пухлые ручонки. При виде столь сердечного радушия оставалось только беспомощно улыбнуться, сознавая, до чего она и трогательна, и смешна, и что не любить ее невозможно. Глядя на нее, казалось, будто времени после тридцать третьего года не существует вовсе. То есть в другие дни оно, возможно, для нее и существует, но не по четвергам. По четвергам вокруг нее был лишь прежний Берлин и все еще действовала Веймарская конституция.

В просторной гостиной с галереей покойников на стенах собралось уже довольно много народа. Первым бросился в глаза актер Отто Вилер, окруженный горсткой почитателей.

– Он покорила Голливуд! – с гордостью провозгласила Бетти. – Он пробился!

Вилер внимал ее словам с молчаливой благосклонностью.

– Что у него за роль? – спросил я у Бетти. – Отелло? Братья Карамазовы?

– Большущая роль! Какая, не знаю. Вот увидите, он всех за пояс заткнет. Это будущий Кларк Гейбл.

– Чарльз Лоутон, – поправила ее племянница, сморщенная старая дева, приставленная разливать кофе. – Да, скорее Чарльз Лоутон. Характерный актер.

Кан перекинулся со мной саркастическим взглядом.

– Этот Вилер и в Европе-то такой уж звездой не был. Слыхали анекдот про человека, который заходит в Париже в ночной клуб русских эмигрантов? Хозяин расхваливает ему свое заведение. «Портье у нас – бывший генерал, официант – бывший граф, кабаретист – бывший великий князь», ну и так далее. Гость – на руках у него маленькая такса – хранит невозмутимое молчание. Чтобы как-то ему польстить, хозяин спрашивает: «А что это у вас за собачка?» Гость на это: «Раньше, в Берлине, это был сенбернар». – Кан меланхолически улыбнулся. – Впрочем, этот Вилер и вправду получил маленькую роль. В фильме второй категории. Будет играть нациста. Эсэсовца.

– Что? Да он же еврей!

– Ну и что из того? Пути Голливуда, как и Господа, неисповедимы. Судя по всему, в Голливуде полагают, что у всех эсэсовцев должны быть еврейские физиономии. Это уже четвертый случай, когда на роль эсэсовца они берут еврея. – Кан усмехнулся. – Что ж, в своем роде торжество справедливости силой искусства. А гестапо подобным образом спасает даровитых евреев от голодной смерти.

Бетти объявила, что в этот вечер у нее будет особенный гость – доктор Грэфенхайм, он в Нью-Йорке проездом. Оказалось, многие его знают: в Берлине он был знаменитым гинекологом. Даже какое-то противозачаточное средство названо его именем. Вскоре прибыл и он сам. Кан, как выяснилось, тоже с ним знаком. Это оказался тихий, скромный,

худенький человечек с темной бородкой.

– Где вы обосновались? – спросил Кан у медицинского светила. – Где ведете прием?

– Прием? – переспросил тот озадаченно. – О чем вы говорите? Я еще не подтвердил свой диплом. Не сдал пока что экзамен. Это очень трудно. Вот вы сейчас взяли бы снова сдавать на аттестат зрелости?

– Вам-то разве это требуется?

– Да. Все по новой. Причем по-английски.

– Но вы же известный врач! Специалист! Уж вас-то здесь наверняка должны знать. И если даже нужны какие-то экзамены, то в вашем случае только проформы ради.

Грэфенхайм беспомощно пожал плечами.

– Как бы не так. Напротив, нас, эмигрантов, экзаменуют куда строже, чем американцев. Да вы сами знаете, как оно здесь и что к чему. Это только считается, что врачи по профессии альтруисты. На самом деле они тут объединены в сообщества, в клубы, и защищают свои шкурные интересы как лютые волки. Чужаков на пушечный выстрел не подпускают. Вот и приходится нашему брату снова экзамены сдавать. На чужом-то языке каково это? А мне уже за шестьдесят. – Грэфенхайм, словно извиняясь, виновато улыбнулся. – Надо было языки учить. Впрочем, кому из наших здесь легко? Мне еще потом ассистентом целый год стажироваться. Но тогда, по крайней мере, в больнице у меня будет бесплатное питание и топчан, чтобы переночевать.

– Да расскажите же вы всю правду! – горячо прервала его Бетти. – Кан и Росс вас поймут. Его обокрали. Один мерзавец, свой же, из эмигрантов, его облапошил!

– Но, Бетти...

– Да-да, попросту обворовал, самым подлым образом. У Грэфенхайма была коллекция марок, очень ценная. И часть ее он отдал своему другу, когда тот – много раньше других – из Германии уезжал. На сохранение отдал. Но когда Грэфенхайм в Америку прибыл, оказалось, что этот друг вообще ему уже никакой не друг. Он заявил, что никогда ничего от Грэфенхайма не получал.

– Обычная история, – бросил Кан. – В таких случаях, правда, принято уверять, будто вещи изъяли на границе.

– Нет, этот оказался хитрее. Иначе он ведь признал бы, что взял марки, и тогда у Грэфенхайма были бы хоть какие-то, пусть призрачные, шансы на возмещение ущерба.

– Нет, Бетти, – возразил Кан. – Не было бы никаких шансов. Расписку ведь вы не брали, верно?

– Да нет, конечно. Это совершенно исключено. Дело-то деликатного свойства, да и какая расписка между друзьями?

– Ну да, зато эта скотина теперь как сыр в масле катается, – фыркнула Бетти. – А Грэфенхайму пришлось голодать.

– Ну, не то чтобы голодать... Но я рассчитывал, что на эти деньги смогу оплатить свое повторное университетское образование.

– Скажите лучше прямо, на какую сумму он вас обчи-

стиль? – безжалостно потребовала Бетти.

– Ну как... – Грэфенхайм со смущенной улыбкой потупился. – Там были самые редкие мои марки. Шесть-семь тысяч долларов любой знающий скупщик за них бы отдал.

Бетти, хоть явно слышала эту сумму не впервые, снова потрясенно распахнула свои глаза-вишенки.

– Целое состояние! Сколько добра можно было сделать на эти деньги!

– Хорошо хоть они не достались нацистам, – чуть ли не оправдываясь, проронил Грэфенхайм.

– Вечно это ваше «хорошо хоть»! – напустилась на него Бетти. – Вечно эти эмигрантские присказки, это самоутешение ваше! Вместо того, чтобы проклясть эту сволочную жизнь на чем свет стоит!

– Что бы это дало, Бетти?

– Нет, честное слово, иной раз я сама готова стать антисемиткой! Вечно это всепрощение! Думаете, нацист на вашем месте поступил бы так же? Да он бы забил этого мошенника до смерти!

Кан смотрел на Бетти хоть и с нежностью, но явно забавляясь: в своих фиолетовых рюшах та выглядела сейчас как сердитый, расхорохорившийся попугай.

– Ты у нас последняя маккавейка, душа моя!

– Нечего смеяться! Ты-то хотя бы давал прикурить этим подонкам. Ты меня поймешь. Иной раз меня просто распирает от злости. Вечно это смирение! Вечно эта готовность

безропотно принять что угодно! – Бетти перевела гневный взгляд на меня. – Ну, а вы что скажете? Тоже готовы все проглотить?

Я промолчал. Что тут ответишь? Бетти передернула плечами, словно сама над собой усмехаясь, и перешла к другой группе гостей.

Кто-то завел граммофон. По комнате поплыл голос Рихарда Таубера. Он пел арию из «Страны улыбок».

– Ну, сейчас начнется вечер воспоминаний и тоски по Курфюрстендамму, – проронил Кан. И повернулся к Грэфенхайму.

– Где вы сейчас живете?

– В Филадельфии. Бывший коллега меня приютил. Может, вы его знаете: его фамилия Равич.

– Равич? Из Парижа? Еще бы мне его не знать! Так он, оказывается, тоже выбрался? Что он подделывает?

– То же, что я. Только относится к этому легче. В Париже сдать экзамен было и вовсе невозможно. А здесь это допустимо, и он считает, это прогресс. Мне бы его оптимизм. Но я, к сожалению, говорю только на проклятом родном наречии, ну и еще на латыни и греческом, причем даже бегло. Куда с этим подашься?

– Почему бы вам просто не переждать, покуда все кончится? Германии эту войну не выиграть, уж теперь-то каждому ясно. И тогда вы вернетесь.

Грэфенхайм задумчиво покачал головой:

– Возможность вернуться – это последнее, на что можно надеяться. Это иллюзия, которая только сломит нас.

– Но почему? Если с нацистами будет покончено?

– С немцами, возможно, и будет покончено. Но не с нацистами. Нацисты ведь не с Марса свалились такими насильниками, чтобы обесчестить нашу добродетельную Германию. В подобные сказки еще, может, верят те, кто покинул родину сразу, в тридцать третьем. А я еще годами там оставался. И слышал по радио зверский рев этих толп и кроважденные крикливые речи на их собраниях. И это была уже не только их партия. Это была вся Германия. – Грэфенхайм прислушался к граммофону, воодушевленно распеваящему «Берлин остается Берлином» голосами певцов, которые с тех пор успели очутиться либо в концлагерях, либо в эмиграции. Бетти Штайн и кое-кто из гостей тоже слушали – кто зачарованно и с упоением, кто с горькой усмешкой.

– Они там вовсе нас не ждут. Никто. И никого.

* * *

Я возвращался к себе в гостиницу. Вечер у Бетти настроил меня на меланхолический лад. Я все думал о Грэфенхайме, который пытается построить здесь жизнь заново. Чего ради? В Германии у него оставалась жена. Она не еврейка. Пять лет она сопротивлялась давлению гестапо и не соглашалась на развод. За эти пять лет она из цветущей женщины пре-

вратилась в истеричку и развалину. Регулярно, раз в две-три недели, Грэфенхайма таскали на допросы. Каждое утро, спозаранку, с четырех до семи, они с женой тряслись от страха – именно в это время за ним приезжали. Сам допрос нередко начинался лишь на следующий день, а то и через несколько суток. На это время Грэфенхайма определяли в камеру, где, томясь смертным страхом неизвестности, уже сидели другие евреи, обливаясь холодным потом в ожидании своей участи. Эти жуткие часы сплотили их в довольно странное тюремное братство. Они хоть и перешептывались, но друг друга не слышали. Слух их обращен был только наружу, за дверь камеры – не раздадутся ли там роковые шаги. В этом братстве своем, мнилось им, они даже помогают друг другу – и советом, и тем немногим, что имеют при себе, – но в то же время каждый питал к каждому мучительную смесь симпатии и неприязни, словно им, на всех скопом, выделена какая-то одна, заведомо недостаточная порция спасительной свободы и каждый, вышедший на волю, таким образом, неизбежно обкрадывает остающихся. Время от времени конвоиры, двадцатилетние молодчики, этот цвет немецкой нации, выволакивали из камеры, подгоняя пинками, побоями, руганью и полагая, очевидно, подобное обращение совершенно необходимым, очередного арестанта, какого-нибудь немощного старика-сердечника, и уводили тюремным коридором. После этого в камере надолго воцарялось молчание.

Потом, зачастую много часов спустя, когда в камеру швы-

ряли окровавленный куль человеческой плоти, все неистово и молча принимались за работу. Грэфенхайму уже столько раз доводилось это делать, что теперь, когда за ним приезжали, он успевал шепотом попросить плачущую жену сунуть ему в карман пару лишних носовых платков: пригодятся для перевязки. Брать с собой бинты он не решался. И так-то перевязка арестанта в камере требовала немалого мужества. Случалось, что людей, попадавших на этом, забивали до смерти – за непослушание. Грэфенхайм вспоминал, в каком виде доставляли в камеру этих несчастных. На них живого места не было, они пошелохнуться не могли, но некоторые, сохраняя последние остатки мысли в горячечным блеске глаз на расквашенном лице, осипшим от воплей голосом шептали: «Повезло! Не забрали!» «Забрали» – это означало бы бросили в подвал подыхать мучительной смертью от постоянных избиений или отправили в концлагерь, где тебя либо запытают до смерти, либо загонят, как зайца, на колючую проволоку с электрическим током.

Вот и Грэфенхайма пока что «не забрали». Свою частную практику ему давно уже пришлось уступить другому врачу. Тот предложил ему за нее тридцать тысяч марок, а уплатил в итоге тысячу – притом, что стоила она все триста тысяч. Просто как-то раз некий унтер-штурмфюрер, родственник того самого врача, заявился к Грэфенхайму незванным гостем и поставил хозяина перед выбором: либо отправляться в концлагерь за незаконное оказание медицинских услуг, ли-

бо взять тысячу марок и выдать расписку в получении тридцати тысяч. И Грэфенхайм мгновенно уяснил, что надо делать. И то сказать — жена его была уже почти на грани безумия. Но все еще отказывалась с ним разводиться. Внушила себе, что тем самым спасает его, Грэфенхайма, от концлагеря. А на развод соглашалась, только если Грэфенхайму дадут разрешение на выезд из страны. Она должна быть совершенно уверена в полной его безопасности. И тут Грэфенхайму неожиданно улыбнулась удача. Тот самый унтерштурмфюрер, который тем временем успел стать оберштурмфюрером, вдруг снова к нему появился, теперь и вовсе среди ночи. Был он в штатском, несколько смущен и только слегка помявшись изложил причину визита: его подружке надо сделать аборт. А он женат, и супруге его глубоко наплевать на доктрину национал-социализма, согласно которой детей надо иметь как можно больше, пусть даже от нескольких «наследственных корней» — главное, чтобы все корни были чистокровными. Она почему-то считала, что ее собственного наследственного корня вполне достаточно. Грэфенхайм отказался. Заподозрил ловушку. Однако, не желая злить незваного гостя, он осторожно заметил, что его преемник ведь тоже врач; не лучше ли господину оберштурмфюреру обратиться к нему: как-никак, это его родственник, и к тому же, — тактично намекнул Грэфенхайм, — многим ему обязан. Все это оберштурмфюрер одним махом отмел.

— Отказывается, сучий потрох, — прорычал он. — Я толь-

ко заикнулся, причем совсем издалека зашел, – так он, гнида, мне целую речь толкнул, будто мы на партийном собрании, про наследственное достояние нации, генетический фонд и всю эту дребедень! Вот она, благодарность! А я-то ему как помог с его практикой! – Грэфенхайм тщетно пытался уловить хоть искорку иронии в глазах упитанного оберштурмфюрера. – С вами другое дело, – продолжал тот. – С вами-то уж точно все будет шито-крыто. А шурин, падла, если что, молчать не станет, да ему и проболтаться недолго. Или, чего доброго, меня же еще и шантажировать будет всю жизнь.

– Вы тоже сможете его шантажировать, ведь это незаконное хирургическое вмешательство, – робко возразил Грэфенхайм.

– Я простой солдат, – отмахнулся оберштурмфюрер. – И во всех этих закавыках ничего не смыслю. С вами, голуба, все куда проще. Мы друг друга не обидим. Вам запрещено практиковать, мне запрещено хлопотать об аборте, значит, рискуем оба. Девчонка придет к вам ночью, а утром отправится домой. Лады?

– Ну уж нет! – раздался вдруг голос жены Грэфенхайма. Все это время она, вне себя от страха, подслушивала под дверь. Теперь, словно оживший призрак, она возникла в дверях, придерживаясь за косяк. – Грэфенхайм вскочил. – Не вмешивайся! – приказала она. – Я все слышала. Ты на это не пойдешь! Пока не получишь разрешение на выезд! Это

цена. Устройте разрешение, – бросила она, теперь уже оберштурмфюреру.

Тот принялся объяснять, что это даже не по его ведомству. Она ничего не желала слушать. Он попытался уйти – она пригрозила, что обо всем донесет его начальству. – Да кто ей поверит? Это ж слово против слова. – Может, и не поверят, но проверят. – Он пробовал отделаться обещаниями. Она оставалась непреклонна. Сперва разрешение, потом аборт.

И случилось почти чудо. В неисповедимых лабиринтах живодерской нацистской бюрократии встречались иногда такие вот островки удачи. Девушка пришла к Грэфенхайму примерно недели через две, ночью. Когда все было позади, оберштурмфюрер признался Грэфенхайму, что имеется еще одна причина, по которой он обратился именно к нему: врачу-еврею он доверяет куда больше, чем своему долдону шуру. Опасаясь подвоха, Грэфенхайм до последней минуты оставался начеку. Оберштурмфюрер стал давать ему деньги – двести марок. Грэфенхайм не брал. Тогда он попросту сунул купюры Грэфенхайму в карман: «Берите-берите, голуба, они вам еще пригодятся». Видно, девчонку он и вправду любил. Грэфенхайм до такой степени боялся сглазить свою удачу, что даже не попрощался с женой. Надеялся перехитрить судьбу. Мол, если попрощаюсь, на границе точно завернут. Но его пропустили. И вот теперь, мыкаясь в Филадельфии, он не мог простить себе, что не поцеловал жену на про-

щение. Мысль об этом мучила его неотступно. О жене он больше ничего не слышал. Да вряд ли и можно было услышать, ведь вскоре разразилась война.

* * *

У парадного под вывеской «Рубен» стоял «роллс-ройс» с наемным водителем. Шикарный лимузин смотрелся здесь, как золотой слиток в грязной пепельнице.

– Вот вам подходящий спутник, – услышал я голос Меликова из плюшевого закутка. – У меня, к сожалению, совсем времени нет.

В закутке, в самом углу, я узрел Наташу Петрову.

– Уж не ваш ли этот «роллс-ройс» у подъезда? – спросил я.

– Напрокат, – бросила она. – Как и наряды, в которых мне сегодня сниматься, как и драгоценности. На мне ничего своего, все заемное.

– Но голос-то ваш, неподдельный. Да и «роллс-ройс» настоящий.

– Настоящий. Но это все не мое. Словом, вещи у меня подлинные, но сама я фальшивка. Так лучше?

– Во всяком случае, гораздо опаснее, – рассудил я.

– Ей нужен кавалер, – начал объяснять Меликов. – «Роллс-ройс» ей предоставлен только на сегодняшний вечер. Завтра надо его вернуть. Не желаешь ли провести вечерок

этаким аферистом-самозванцем, да еще колеся в шикарном авто?

Я рассмеялся:

– Последние годы я только этим и занимаюсь. Правда, без авто. Это будет что-то новенькое.

– Нам и шофера предоставляют, – сообщила Наташа. – И даже в униформе. Англичанин.

– Мне надо переодеться?

– Разумеется, нет. Вы на меня взгляните!

Переодеться, кстати, мне было бы весьма затруднительно. У меня всего два костюма, и лучший как раз на мне.

– Так вы поедете? – спросила Наташа Петрова.

– С удовольствием!

Ничего лучше и придумать нельзя – лишь бы избавиться от мрачных мыслей о Грэфенхайме.

– Похоже, у меня сегодня удачный день, – заметил я. – Я себе устроил трехдневный отпуск, но столь приятных сюрпризов, честно говоря, не ожидал.

– Вы можете устраивать себе отпуск? Я вот не могу.

– Да и я не могу, просто перехожу на новое место. Через три дня начинаю работать у одного торговца живописью: морочить клиентов, окантовывать и доставлять картины, вообще быть мальчиком на побегушках.

– И продавать тоже?

– Боже упаси. Это вотчина господина Сильверса.

Она окинула меня изучающим взглядом.

– А почему бы вам, собственно, не продавать?

– Я в этом мало что смыслю.

– Так и не надо смыслить. По крайней мере в том, что продаешь. Тогда гораздо лучше работается. Если не знаешь недостатков товара, свободней себя чувствуешь.

Я рассмеялся:

– Откуда у вас такие познания?

– А мне иногда приходится продавать. Платья, шляпки. – Она снова пристально на меня глянула. – И мне причитаются комиссионные. Вам тоже надо это оговорить.

– Да я вообще пока не знаю, что мне поручат. Может, полы мести да подавать гостям кофе. Или коктейли.

Мерно покачиваясь, мы плыли по улицам; впереди, обтянутая вельветом, маячила могучая спина шофера в бежевой фуражке. В панели красного дерева Наташа нажала какую-то кнопку, и из спинки переднего сиденья, раскладываясь на ходу, медленно выехал небольшой столик.

– Коктейли, – повторила Наташа и протянула руку куда-то под столик, где образовалась барная ниша с бутылками и бокалами. – Уже холодные, – объявила она. – Последнее слово техники – маленький встроенный холодильник. Что желаете? Водку, виски, минеральную воду? Водку, не так ли?

– Разумеется. – Я глянул на бутылку. – Да это настоящая русская водка! Как, откуда?

– Напиток богов! Нектар высочайшей пробы! Одно из немногих отрадных последствий войны. Человек, которому

принадлежит этот лимузин, каким-то боком связан с внешней политикой. И часто бывает то в России, то в Вашингтоне. – Она хихикнула. – Об остальном предпочитаю не спрашивать, давайте лучше насладимся. Мне разрешено.

– Но не мне.

– Человек, предоставивший мне эту машину, знает, что я буду кататься не одна.

Водка и впрямь была выше всяких похвал. Все, что мне доводилось пить прежде, по сравнению с ней казалось слишком резким и отдавало спиртом.

– Еще по одной? – спросила Наташа.

– Почему бы и нет? Как я погляжу, завидная у меня теперь участь: от войны мне сплошные выгоды. В Америку впустили, потому что война; работу нашел, потому что война; а теперь вот и русскую водку пью, потому что война. Хочешь не хочешь, получается, что я прихлебатель, жирую на войне.

Наташа Петрова озорно блеснула глазами.

– Так почему бы вам не захотеть? Так гораздо приятней.

Мы ехали по Пятой авеню вдоль Центрального парка.

– А тут начинаются ваши угодья, – проронила Наташа.

Немного погодя мы свернули на восемьдесят шестую улицу. Вроде бы широкая, вполне американская улица, она, однако, сразу напомнила мне улочки в небольших немецких городишках. Мимо проплывали кондитерские, пивные, киоски-закусочные.

– И что, здесь все еще говорят по-немецки?

– Сколько угодно. Американцы великодушны. Никого не сажают. Не то, что немцы.

– И не то, что русские, – возразил я.

Наташа усмехнулась.

– Хотя нет, американцы тоже сажают, – сказала она. – Японцев, которые тут живут.

– Как и французов, и вообще эмигрантов, которые жили за океаном.

– Получается, везде сажают не тех, кого надо, так, что ли?

– Очень даже может быть. Во всяком случае, нацисты, что живут на этой улице, пока на свободе. Нельзя ли нам поехать куда-нибудь в другое место?

Она смотрела на меня молча. Потом задумчиво произнесла:

– Обычно я не такая. Но что-то в вас меня раздражает.

– Какое совпадение. Меня в вас тоже.

Она пропустила мой ответ мимо ушей.

– Какое-то непрошибаемое самодовольство, – продолжала она. – До того непрошибаемое, что до вас не достучаться. И меня это бесит. Понимаете?

– Безусловно. Меня и самого в себе это бесит. Но к чему вы все это мне говорите?

– Чтобы вас побесить, – сказала она. – Зачем же еще? А я? Что вас раздражает во мне?

– Да ничего, – рассмеялся я.

Она насупилась. Я тут же пожалел о сказанном, но было

поздно.

– Немчура проклятый, – поцедила она. Лицо ее побелело, она больше не смотрела на меня.

– К вашему сведению, Германия лишила меня гражданства, – сообщил я ей и тут же на самого себя за это разозлился.

– Неудивительно! – Наташа Петрова постучала в стекло над передним сиденьем. – В гостиницу «Рубен», пожалуйста, – распорядилась она.

– Простите, мадам, на какой это улице? – осведомился шофер.

– Это там же, откуда мы приехали.

– Как прикажете.

– Не нужно меня отвозить, – сказал я. – Могу и здесь сойти. Автобусы ходят, прекрасно доберусь.

– Как вам угодно. Вы же здесь как дома.

– Остановите, пожалуйста, – обратился я к шоферу. – Премного благодарю, – сказал я Наташе и вышел. Она не ответила.

Я стоял на Восемьдесят шестой улице в Нью-Йорке, уставившись на кафе «Гинденбург», откуда гремел духовой оркестр. В окне кафе «Гайгер» пухлым кольцом был выложен до боли знакомый мраморный кекс. Рядом в витрине мясной лавки висели кровавые колбасы. И вокруг сплошь немецкие звуки. Все эти годы я так часто воображал себе, до чего радостно будет однажды вернуться домой, но я и думать не ду-

мал, что вот таким может оказаться мое возвращение.

IX

Работа моя у Сильверса поначалу свелась к составлению каталога всего, что им прежде продано, причем к каждой картине имелась фотография, на обороте которой надо было делать запись о происхождении вещи.

– Со старыми полотнами главная трудность – это установление провенанса, то есть истории владений, – объяснял Сильверс. – Картины – они как аристократы, их родословная должна быть прослежена вплоть до самого истока, до их создателя. И разрывы тут недопустимы – только непрерывная линия, от церкви «икс» до кардинала «игрек», от собрания князя «зет» до каучукового магната Рабиновича или автомобильного короля Форда.

– Но ведь известна же сама картина...

– Известна-то известна, однако фотография по-настоящему вошла в обиход только в конце девятнадцатого века. А гравюры, чтобы можно было свериться, изготавливались совсем не со всех старых полотен. Так что зачастую приходится полагаться лишь на чутье. Да еще, – добавил он с поистине дьявольской усмешкой, – на искусствоведов.

Я придвинул к себе горку фотографий. Сверху оказались цветные снимки работы Мане: натюрморт небольшого формата, пионы в стакане воды. Казалось, и цветы, и даже воду можно потрогать. Дивный покой исходил от них, но и живи-

тельная сила – словно художник сам, впервые, сотворил эти цветы, а до него их и на свете не было.

– Нравятся? – спросил Сильверс.

– Они великолепны.

– Лучше, чем вон те «Розы» Ренуара на стене?

– Они же совсем другие, – опешил я. – Лучше, хуже – как тут можно сравнивать?

– Можно. Если торгуешь искусством – можно.

– У Мане это миг сотворения, у Ренуара – апофеоз цветущей жизни.

Сильверс чуть склонил голову набок.

– Неплохо. Вы, часом, писателем не были?

– Всего-навсего заурядным журналистом.

– Кажется, у вас есть жилка. Вы могли бы писать о картинах.

– Ну нет, я слишком мало в этом смыслю.

Сильверс снова нацепил свою дьявольскую усмешку.

– Вы полагаете, люди, которые пишут о живописи, смыслят больше? Открою вам один секрет. О картинах писать нельзя. И вообще об искусстве. Все, что об этом пишется, – всего лишь толчение банальностей в ступе для невежд. Об искусстве писать нельзя. Его можно только чувствовать.

Я не стал возражать.

– И продавать, – добавил Сильверс. – Вы ведь это подумали, верно?

– Вовсе нет, – ответил я, даже не покривив душой. – Но

почему тогда вы говорите, что у меня жилка и я мог бы писать о картинах? Если писать о них вообще нельзя?

– Ну, может, это все-таки лучше, чем быть заурядным журналистом?

– А может и нет. Может, лучше быть честным журналистом, а не высокопарным пустомелей, распинаящимся об искусстве.

Сильверс рассмеялся.

– Вы типичный европеец: мыслите крайностями. Или это по молодости? Хотя не так уж вы молоды. А ведь между двумя вашими крайностями – еще множество промежуточных вариантов и тысячи оттенков. Да и исходная предпосылка у вас неверна. Смотрите сами: я хотел стать художником. И даже был им. Со всем рвением и вдохновением заурядного художника. Теперь я торговец искусством. Со всем цинизмом, присущим этому ремеслу. И что это изменило? Предал ли я искусство, перестав писать плохие картины? Предаю ли теперь, торгуя живописью?

Сильверс предложил мне сигару.

– Послеполуденные размышления в Нью-Йорке, – хмыкнул он. – Попробуйте-ка лучше эту сигару. Это легчайшая из всех гаванских. Вы вообще сигары любите?

– Да я как-то не задумывался. Курю, что придется.

– Счастливчик!

Я удивленно вскинул глаза.

– Это что-то новенькое. Вот уж не знал, что это и есть

счастье.

– У вас еще все впереди: возможности, их выбор, наслаждение, пресыщение. Под конец только пресыщение и остается. А чем глубже снизу начнешь, тем дольше путь до конечной точки.

– По-вашему, начинать надо варваром?

– Если посчастливилось, да...

Я вдруг разозлился. Уж что-что, а на варваров я насмотрелся. Подобная салонная дребедень, возможно, хороша для других времен, а мне сейчас ни к чему. Весь этот эстетский треп не для меня, даже за восемь долларов в день. Я кивнул на фотографии.

– С этими-то вещами атрибуция, вероятно, не так сложна, как со старыми мастерами? – спросил я. – Как-никак, разница в несколько столетий. Дега и Ренуар чуть ли не до первой мировой работали, а Ренуар и того дольше прожил.

– Тем не менее и под них уже много подделок.

– Выходит, безупречный провенанс – единственная гарантия?

Сильверс усмехнулся.

– Да. Ну и еще чутье. Нужно помнить сотни полотен. Смотреть их снова и снова. И так многие годы. Смотреть, изучать, сравнивать. И снова смотреть.

– Звучит красиво, – сказал я. – Но как же тогда выходит, что многие директора музеев обмишуриваются в экспертизах?

– Ну, некоторые обмещуриваются намеренно. Правда, об этом быстро узнают: земля слухом полнится. Другие просто ошибаются. Почему? Тут надо понимать разницу между директором музея и частным торговцем. Директор музея приобретает вещи изредка – и платит не из своего кармана, а из бюджета музея. Торговец покупает чаще – но за свои. Согласитесь, это существенная разница. Ошибется торговец – он потеряет свои деньги. А директор музея из своего жалованья не потеряет ни гроша. Его интерес к картине – сугубо академический, а у частного торговца – финансовый. И уж он-то смотрит во все глаза: он рискует больше.

Я молча поглядывал на этого превосходно одетого господина. Костюмы и ботинки у него из Лондона, сорочки – по последней парижской моде. Холеный, ухоженный, так и благоухает французским одеколоном. Я наблюдал за ним – но как будто сквозь стекло, слышал его – но как будто сквозь вату. Казалось, он живет в каком-то совсем ином мире, мире – уж в этом-то я не сомневался – головорезов и разбойников, однако разбойников элегантных и на вид почти не опасных. И слова вроде бы говорит правильные – а все равно что-то в них не то. Во всем ощутил какой-то жутковатый, едва заметный подвох. Хоть и держится он вальяжно, с этакой неброской надменностью, а чувство такое, будто в любую секунду способен обернуться барыгой, который, если что, не задумываясь пойдет по трупам. И весь мир его какой-то дутый. Сплошь мыльные пузыри напыщенных фраз, якобы вы-

дающих в нем искушенного ценителя, хотя искушен он лишь по части цен; истинный любитель искусства, я так считаю, искусством не торгует.

Сильверс взглянул на часы.

– Давайте закончим на сегодня. Мне в клуб пора.

Насчет клуба я ничуть не удивился. В том призрачном, застекленно-тепличном мире, где он обитает, клубу самое место.

– Что ж, мы сработаемся, – заключил он, привычно оглаживая стрелки на брюках. Я мельком глянул на его ботинки. Все в его туалете было самую малость чересчур. Носы ботинок чуть острее да и чуть светлее, чем нужно. Чуть заметнее рубчик костюмной ткани, чуть ярче галстук, и сразу видно, что несусветно дорогой. Сильверс между тем присматривался к моему внешнему виду.

– Для нашего нью-йоркского лета костюм у вас не слишком плотный?

– Будет жарко – пиджак сниму.

– Только не здесь. Купите себе летний костюм. В Америке отличные магазины готового платья. Даже миллионеры почти не шьют здесь на заказ. Загляните в «Брукс Бразерс». Ну или, если хотите подешевле, в «Браунинг энд Кинг». Там долларов за шестьдесят вполне можно купить что-то приличное.

Он извлек из кармана пиджака пачку купюр. Я уже и раньше успел заметить, что он обходится без бумажника.

– Вот, – он протянул мне сотенную. – Считайте, что это аванс.

* * *

Эта сотенная просто жгла мне карман. Я еще вполне успевал в «Браунинг энд Кинг». Бредя по Пятой авеню, я славил Сильверса в безмолвной молитве. Конечно, велик соблазн денежки попридержать и донашивать старый костюм, но это исключено. Рано или поздно Сильверс все равно спросит. А я после всех его лекций о живописи как о наилучшей инвестиции сегодня, даже не приобретя ни одного Мане, свое состояние, можно считать, удвоил.

Какое-то время спустя я свернул на Пятьдесят четвертую улицу. Там, чуть поодаль, есть небольшой цветочный магазинчик, где можно купить очень недорогие орхидеи. Судя по всему, не первой свежести, но по ним никак не скажешь. Я еще вчера разузнал у Меликова адрес магазина, где подрабатывает Наташа Петрова, однако при мысли о ней в голове поднимался сумбур: я так и не мог понять, что она за птица. То она казалась мне вздорной фифой, к тому же шовинисткой, то вдруг сам я чувствовал себя болваном неотесанным. Но теперь, похоже, сам господь решил вмешаться в этот душевный разлад, и доказательством тому купюра у меня в кармане. Я купил две орхидеи и послал их Наташе на адрес магазина. Обошлись они мне в пять долларов, выглядели

много дороже, и даже в этом мне виделось что-то подобающее случаю.

В «Браунинг энд Кинг» я подобрал себе легкий серый костюм почти впору – только брюки немного подогнать.

– Завтра к вечеру будет готов, – сообщил продавец.

– А сегодня к вечеру никак нельзя? – спросил я. – Мне срочно.

– Сегодня не успеем.

– Но костюм мне нужен сегодня вечером, – настаивал я. – Срочно.

Никакой срочной надобности у меня не было, но мне вдруг неистово захотелось получить костюм как можно скорее. В последний раз я покупал себе новый костюм бог весть когда, и сейчас меня вдруг обуяла шальная убежденность, что, быть может, нынешняя покупка знаменует конец моего безродного скитальческого житья-бытья и начало нового, оседлого образа жизни в роли умиротворенного обывателя.

– Попробуйте все-таки как-то это устроить, – попросил я.

– Пойду взгляну, что там в пошивочной.

Я стоял между двумя шеренгами костюмов на вешалках и ждал. Казалось, такие же шеренги окружают меня со всех сторон и уже перешли в наступление целой армией автоматов, доведенных до полного совершенства, когда в человеке уже нет нужды. Продавец, бесшумной тенью внезапно вынырнувший из этих рядов, показался мне странным анахронизмом.

– Все устроилось. Часов в семь можете забрать.

– Большое спасибо.

Сквозь пыльный столб солнечного света я шагнул на пышущую зноем улицу.

* * *

Я шел по Третей авеню. Леви-старший, стоя за стеклом, декорировал витрину. Во всем великолепии своей обновки я предстал перед ним на тротуаре. Он вытаращился на меня, словно филин в ночи, и, махнув подсвечником, пригласил войти.

– Хорошенькое дело, – заявил он. – Это уже первый навар с вашей должности проходимца разрядом повыше?

– Этот навар – просто аванс от человека, которому вы, господин Леви, сами меня рекомендовали.

Леви скривился в ухмылке.

– Ты погляди-ка, аж целенький костюмчик.

– И еще осталось кое-что. Сильверс рекомендовал мне «Брукс Бразерс». Но я нашел кое-что попроще.

– У вас вид типичного афериста.

– Премного благодарю. Я аферист и есть.

– А вы, как я погляжу, уже отлично поладили, – бурчал Леви, устраивая дивного, правда, заново раскрашенного, ангелочка восемнадцатого века на отрезе генуэзского бархата. – Удивляюсь, как это вы не побрезговали заглянуть к нам, жал-

ким лавочникам.

Я смотрел на него, чуть не онемев от изумления. Коротышка-толстяк и вправду ревнует! Хотя сам же меня к Сильверсу устроил!

– По-вашему, лучше бы мне Сильверса обокрасть, так, что ли?

– Обокрасть – одно дело, в зад целовать – совсем другое, – буркнул Леви. – Две большие разницы.

Он переставил «старинный» французский стул, подлинный на целых полножки. И я вдруг ощутил острый прилив нежности. Давно я не испытывал этого чувства – чувства, что к тебе относятся по-доброму, причем совершенно бескорыстно. Хотя, если подумать, не так уж давно. Хороших людей на свете много. Однако замечаешь это лишь в крайней беде – и это как бы возмещение тебе за твои мытарства. Довольно странный противовес, в лихие минуты жизни подбивающий даже поверить в существование очень далекого, совершенно безличного бога, который с неукоснительностью автомата переключает кнопки на некой панели управления всемирным равновесием. Но только в лихие минуты и очень ненадолго.

– Ну что вы так устались? – спросил Леви.

– До чего же славный вы человек, – в порыве откровенности ответил я. – Прямо отец родной.

– Что?

– Я правда так думаю. В высшем, метафизическом смыс-

ле.

– Что? – не понял Леви. – Живется вам, как вижу, неплохо. Раз вы всякую чушь городите. Шутки-прибаутки. Неужто у этого паразита так хорошо? – Он отер пыль с рук. – Там-то, видно, в грязи возиться не нужно? – Он швырнул замызганное полотенце за шторку витрины на стопку окантованных японских офортов. – Там-то куда лучше, чем здесь, верно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.